

18+

Никита Брагин

На перепутьях эпох



Никита Брагин

На перепутьях эпох

«Издательские решения»

Брагин Н.

На перепутьях эпох / Н. Брагин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-687735-1

В книге собраны художественные эссе и очерки о путешествиях автора, очерки о судьбах русской эмиграции 20—30 годов, эссе о русской живописи, литературно-критические статьи, сатирические очерки и авторские интервью.

ISBN 978-5-00-687735-1

© Брагин Н.
© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	6
СТРАНСТВИЯ	8
Возвращение в Россию	8
Путешествие из Стамбула в Анкару	24
Глава 1. Султанахмет	24
Глава 2. Топкапы	30
Глава 3. Галата	35
Глава 4. Бебек	39
Глава 5. Хайдар-Паша	45
Глава 6. Измит	51
Глава 7. Изник	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

На перепутьях эпох

Никита Брагин

© Никита Брагин, 2026

ISBN 978-5-0068-7735-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В литературной среде бытует выражение «проза поэта». Вроде как проза не самого высшего качества, проза того, кто по призванию должен отнюдь не прозу сочинять. Что-то еще чувствуется в этом такое снисходительное — ну, это же проза поэта, не судите строго. Между тем, такая проза, как можно видеть, полистав классику, весьма многообразна. Выделяются произведения авторов, которые в равной мере владеют и стихотворным и прозаическим искусством. Самое время немного поговорить об этом.

Начнем с вершин прозы собственно. Если внимательно проанализировать творчество лучших писателей, великих классиков прозы, то нетрудно заметить, что они уверенно владеют тремя составляющими литературы: лирикой, эпосом и драмой. В самом деле, эпическое начало лежит в основе романа, диалоги действующих лиц немыслимы без драматического содержания, лирика же просто обязана присутствовать как в изображении человеческого чувства, так и в одухотворенном пейзаже или авторском отступлении.

Напротив, собственно поэзия в её стихотворном выражении может проявиться в одной лишь лирической форме. Да, были поэты, прекрасно владевшие эпическим и драматическим творчеством, вспомним многочисленные поэмы и драмы в стихах. Но было и множество чистых лириков, прославивших свои страны прекрасными произведениями.

И вот здесь можно отметить, что проза собственно лириков действительно отличается от классической прозы. Это либо лирическая проза, бессюжетная или со слабо выраженным драматическим началом. Или же это вообще разного рода статьи, очерки, эссе, но не рассказы, повести и романы. Примеров такой прозы поэтов много, и моя относится к их числу.

Признаюсь, что в юности я мечтал стать именно писателем-прозаиком, и свои стихотворные опыты рассматривал как некую ступеньку на пути к будущему роману, помня слова Пушкина о том, как «лета к суровой прозе клонят». Шли годы, я сделал несколько попыток писать, но ничего дельного не получалось, и в конце концов я понял, что мои литературные способности ограничены лирикой, и сосредоточился на стихах.

Тем не менее, проза время от времени появлялась, и за приблизительно 20 лет её накопилось немало. Это разные работы, которые мне удалось подразделить в этой книге на несколько разделов. Вкратце расскажу о них.

В первый раздел вошли мои воспоминания о собственных путешествиях. Но это не путевые записки в их обычном виде, скорее лирические обобщения моих воспоминаний, а в одном случае («Путешествие из Стамбула в Анкару») большая повесть-эссе, содержащая предметный разговор о сущности искусства, облеченный в старомодную форму сентиментального путешествия.

Второй раздел посвящен живописи. Не являясь искусствоведом, я, тем не менее, давно интересуюсь изобразительным искусством и не мог не отозваться на некоторые важные события в мире живописи. Это создание частного музея русской иконы на Таганке, и две памятные выставки живописи: Александра Герасимова (2016) в Историческом музее и Ивана Владимировича (2017) в Музее современной истории России.

Одним из сильнейших увлечений моей жизни была и остается история. В детстве я мечтал заниматься древней или средневековой историей. Мечта не реализовалась, но я все-таки прикоснулся к этой области, написав несколько очерков, посвященных русской послереволюционной эмиграции: об истории кадетских корпусов в Югославии, о жизни и судьбе его выпускников. К ним примыкает очерк с обзором работ русского историка И. И. Лаппо (также эмигранта) о триединстве (Россия, Малороссия, Белоруссия) русского народа и его подтверждении в документах XVI — XVII веков. Наконец, в этом разделе есть небольшой очерк о моем двоюродном деде И. В. Фетисове и его боевом пути в годы Великой Отечественной войны.

Ряд страниц посвящен литературной критике. Опять же, я не специалист-литературовед. Но я не мог пройти мимо поэзии Даниила Андреева, которого считаю одним из самых значительных поэтов России XX века. Мне представляется незаслуженным и несправедливым тот факт, что внимание заострено на его мистике и лишь слегка скользит по его поэзии. Кроме этого, в разделе есть заметка о выражении «не говори красиво» из романа Тургенева «Отцы и дети», анализ цитат и упоминаний русской поэзии в творчестве И. А. Ефремова, и отклик на рассказ Н. М. Мелёхиной «По заявкам сельчан».

Будучи по общему мнению «чистым лириком», я все же уделял время и сатире. В этой книге представлены три моих сатирических очерка, каждый из которых представляет собой пародию на научную статью. Первый из них — памфлет по поводу так называемой альтернативной истории. В наше время, когда господствует постмодернистская установка на то, что любое мнение имеет значение, можно прочесть самые фантастические измышления, вроде того, что Исаакиевский собор не мог быть построен в середине XIX века, ибо его колонны могли быть изготовлены только на станках, каких тогда не было, или, напротив, что Петербург построен задолго до Петра I. Я уже не говорю об «исследованиях» Фоменко-Носовского, заполонивших в свое время полки книжных магазинов, и просто берусь продемонстрировать, что с помощью нехитрой демагогии и несложных фокусов можно доказать и то, что Наполеона и Ленина никогда не было. Другие два памфлета — о плагиате и графомании, явлениях, широко распространенных ныне.

Завершается эта книга двумя интервью, в которых я немного рассказываю о себе, делюсь мыслями, представлениями и планами.

СТРАНСТВИЯ

Возвращение в Россию

Путь, или, если проще выразиться, дорога — неотъемлемая часть моей жизни. Может быть, самая важная. Может быть, еще больше — дорога и есть моя жизнь, причем не в переносном, а в прямом смысле. Рёв паровозов моего детства, тяжелое движение грузовика к перевалу, лязгающий рваный ход гусеничного вездехода в тундре. Взгляд с кормы корабля на барк «Товарищ», идущий бейдевинд. А чаще всего — пеший маршрут. В горах, в тайге, пустыне, саванне...

Что же есть цель пути? Очень просто. Цель — это личность. Это я сам, такой, какой есть. В каждый миг — тот же самый, и всё равно новый, другой. Человек однажды рождается, но становится — всю жизнь.

Воспоминания — тоже путь, и, двигаясь по нему, приходишь к своему прошлому, и воссоздаешь его, а с ним воссоздаешь и себя, еще молодого, еще не познавшего всех странствий жизни. Я всегда любил вспоминать, но сейчас любовь подкреплена необходимостью, настоящим чувством, желанием закрепить, запечатлеть то, что еще хранит память.

Сейчас мне хочется вспомнить о самом, наверное, некомфортном, проблемном, бестолковом и утомительном из всех моих странствий. Было мне тогда двадцать пять лет, шел 1981 год. Время это уже стало историей, мифологически исказилось в сознании людей, а кое-где покрылось патиной и ржавчиной. Люди вообще много забывают, и я предполагаю, что большая часть жизненных событий каждого человека утрачивается его памятью с течением лет. Оттого всякая мемуарная литература — источник сведений о времени. Субъективных, неточных? Да, конечно, как, впрочем, субъективны, неточны, зачастую фальсифицированы и исторические документы. Если их вообще не засекретили.

Ну и ладно. Отправимся в путь-дорогу, и пусть нам поможет «чувство истины», доступное детям и поэтам, а дорога приведет туда, куда нам надо. И началось всё это с завершения моей геологической экспедиции на Памире. В конце июля мы выехали из Мургаба на экспедиционном «ГАЗ-52», груженом снаряжением и собранными образцами горных пород. Два дня трудных дорог и перевалов, жаркий Душанбе, недолгая стоянка, отправка подчиненных самолетом в Москву — а дальше мне и шоферу предстоял путь в Баку, где предполагалось передать машину другому полевому отряду, отправив экспедиционный груз контейнером в Москву. В общем, стандартные хлопоты полевых геологов.

Долго ли, коротко ли, наконец, мы выехали из Душанбе на запад, через городок Байсун. Вскоре начались цепи скалистых, выжженных солнцем невысоких гор, и там двигатель машины, выдержавший памирские перевалы, вдруг начал сдавать. Он перегревался, в радиаторе закипала вода. И, когда горы кончились, и перед нами раскинулась ровная Каршинская степь, шофер съехал с дороги и сказал, что теперь надо разбираться. Дело было худо, двигатель «троил», один из поршней был то ли разбит, то ли поврежден.

Встали мы аккурат на выезде из маленького города Гузар, и встали намертво. Шофер возился с двигателем, а я дивился тому, что как-то тускнеет свет в разгар узбекского полдня. Это было неполное солнечное затмение, и сейчас без особого труда можно узнать, какого числа это случилось. На второй день шофер оставил попытки самостоятельно исправить двигатель — худшие подозрения подтверждались, а запчастей не было. Нас, впрочем, уже заметили в Гузаре — как в русском селе, здесь, в узбекском городке все друг друга знали, и о новых людях, да еще русских на экспедиционной машине, остановившихся на окраине городка, скоро стало всем известно. Молва летит быстрее новостей. Вечером около нас остановилась машина, и высокий

крупный узбек поинтересовался, что произошло. Мы рассказали всё, как есть. Он выслушал, а потом сказал мне — «Завтра я в середине дня приеду, и ты со мной пойдешь, будем решать ваше дело». Сам он был, как мы потом узнали, водителем местного рейсового автобуса.

На следующий день он пришел и повел меня к ближним одноэтажным домишкам, и у меня случилась настоящая этнографическая экскурсия. Словом, попал я на дастархан, традиции восточного гостеприимства требовали сначала накормить гостя. Сидели в небольшом полутемном помещении, было нас человек двенадцать, все мужчины. Ели классический плов с бараниной, было очень жарко, благодаря полдню и из-за замкнутости помещения (а кондиционеров в таком, практически сельском, строении, и быть не могло!), и не в последнюю очередь горячий и острый плов сам добавлял градус.

Говорили по-узбекски, спокойно, медленно. Спросили меня несколько раз уже по-русски, я каждый раз отвечал и благодарил, так же медленно и спокойно. Все было тихо за дастарханом, только через щель в матерчатой шторке, занавешивавшей выход, лучился солнечный свет в крошечных искорках от пылинок, и через краткие миги промелькивала быстрая женская фигура. А, может быть, две, не помню точно. Эта женщина готовила еду, передавала посуду (узкую смуглую руку можно было заметить), забирала опустошенные тарелки. Вечные труженицы Востока...

Наступило время чая. Зеленый, грубоватый на вкус, горячий, и ни единой крупинки сахара, как и положено. Я тогда уже был привычен к зеленому чаю, он мне нравился, а в эту страшную жару в Каршинской степи он был спасением. Жаркое одолевало жару, и было такое чувство, что сам я уже нагрет больше, чем окружающий воздух, который стал казаться мне прохладным. Относительность человеческих ощущений удивительна — так в бане кажется сначала очень жарко, но после нескольких минут в парной выйдешь — и чувствуешь прохладу.

За первой кружкой чая последовала вторая, а там и третья. Было хорошо, только зудила в сознании нотка нетерпения — ну, когда же о деле речь зайдет? Но я молчал, не спрашивал, не торопил. В самом деле, разве прилично было бы мне, приглашенному и угостившемуся, лезть со своей машиной? И это было правильно. Вдруг ко мне обратились, и сразу коротко, быстро, по-деловому мне было сказано, что сегодня вечером два шофера приедут и помогут исправить двигатель.

Так оно и случилось. Прибыли двое — тот здоровенный водитель автобуса, а с ним пожилой, маленький и сухонький. Привезли целый поршень, еще какие-то детали, начали работать, иногда подбодряя себя тонким черным порошком (потом я узнал, что это насвай, особая смесь табака с известью). Втроем все шоферы трудились часа два, а я наблюдал, да подавал, что требовалось, инструмент или деталь. Так и вечер прошел, наступила черная звездная ночь. Старший из наших спасителей говорил — «Главное, тихо ехать, и чуть что, масло заливать, да побольше, побольше». Бутылку масла они нам дали.

Вот как оно было, и денег с нас не попросили, а времени и сил сколько потратили! И сейчас чувствую благодарность к этим людям, а ведь не знаю даже, живы ли они — оба были много старше меня, двадцатипятилетнего. А одно знаю точно — если бы каким-то чудом мы встретились еще раз, то все равно не узнали бы друг друга. Столько прошло времени! Стиrajутся детали событий, блекнут черты, и только добрая память живет.

А наутро мы тронулись в путь. Сначала Карши, Касан, Каган, а там и Бухара. Ехали медленно, останавливались на редких заправках, спрашивали масло, но его не было. Поллитровая бутылка уже опустела, израненный движок поглотил все масло. Но мы были в Бухаре, сказочном городе Востока!

Каждый значимый город, значимый, конечно, в культурном и историческом смысле, обладает присущей только ему особой аурой, уникальной трансцендентностью, открывающейся, впрочем, не всем и не всегда. Мне, наверное, отчасти повезло, и я смог хотя бы кра-

ешком прикоснуться к душе Бухары. И сейчас я попытаюсь преодолеть вставшие между нами хребты времени.

Бухара открылась мне неожиданно. Панельная советская застройка расступилась, и возник за ней массив древней городской стены, серый плотный кирпич. В одном месте кирпичная облицовка уже давно осыпалась, и дожди размыли необожженный кирпич, и вскрыли внутренность стены, обнажив перекрещивающиеся бревна, иссохшие, древние, времен Бухарского эмирата. Контраст массивной и кажущейся незыблемой нетронутой части стены и её размытого дождями нутра очень резок. Но дальше контраст стал еще больше.

Огромные и дивно лазурные купола своей яркостью любое небо затмить могут. Но небо Средней Азии в разгар лета вообще не голубое. Оно бледно-желтовато-серое, как бы выцветшее от нестерпимого зноя в сорок градусов. И к этому выцветшему небу поднимается блистающая лазурью лазурь куполов многочисленных мечетей и медресе. Блестят и их огромные порталы, изукрашенные многоцветием изразцов, складывающимся в узоры. Но стены — кирпич цвета слежавшейся пыли, тускло-желтовато-серый. Вот он, главный контраст. Ослепительная трансцендентность Неба, возвышенного над прахом земной юдоли. Небо бессмертно, прекрасно, недоступно и неизъяснимо, земля же — могила и прах могильный, тленная пыль.

Человек покорно склоняется перед лазурью, перед этим образом Бога, и так сочетается с прахом, тленной землей, тем самым подтверждая свое происхождение из праха и скорое возвращение в прах. Исламское видение Бога и мира заметно отличается от нашего, православного, склонного видеть Бога среди земли, среди её цветов и птиц. Что-то домашнее, в самый быт врастающее есть в религиозном чувстве русского человека. Разные мы.

Но это не мешало мне любоваться и восхищаться, а когда я увидел огромное, многолетнее, несуразное и похожее на скособоченную папаху гнездо аистов на лазурном куполе, то вспомнил я Ходжу Насреддина, и подумал о том, что природа (а скорее даже сам Господь её силами) поправляет человека. Недоступен и трансцендентен купол, но гнездо стоит, и каждый год в нем вылупляются птенцы, и зеленый побег жизни вьется по суровой и жесткой коре тысячелетнего древа. Мудр человек, но не всегда постигает Бога в самой простой Его черте. Тщится объять величие, но может не узнать «небо в чашечке цветка».

Однако самое высокое сооружение старой Бухары не блещет лазурью. Только кирпич, хмурый и тусклый, слагает массивную колонну минарета Калян, что возвышается на главной площади города, словно гигантская фигура шахматного короля, да и не короля даже, а Шаха, коли уж мы в Бухаре. Лишь в верхней трети минарета есть узкая полоса голубых изразцов, все остальное — неглазированный фигурный кирпич, складывающийся в причудливые арабески, перемежаемые изречениями из Корана. Простота облика минарета соединена со сложностью и даже вычурностью. И еще, в облике Каляна есть суровость. Чем-то родственен он крепостным стенам Бухары, может быть, своей терракотовой массивностью? Не знаю, но вспоминаю легенду о казни сбрасыванием с минарета. Не верю в это, ибо подобные рассказы вообще распространены на Востоке, но минарет самой главной святыни города, Пятничной мечети, не кажется подходящим местом для казней. И все-таки легенда эта сочетается с суровостью огромной башни.

Калян очень древен (XII век), это самое старое здание Бухары. Большинство мечетей и медресе относятся к XVI — XVII векам, а есть и совсем поздние. К своему удивлению, наткнулся я на маленькое медресе начала XX века, у входа в которое на стене красовалась табличка «Детский сад имени Павлика Морозова». Анекдотично и печально. Впрочем, вкрапления современности в давно сложившуюся картину культуры обычно ужасны. Вспоминаю, как много лет спустя, гуляя по венскому Бельведеру, наткнулся взглядом на совершенно неуместные в этом парке начала XVIII века современные скульптуры-раскоряки. Впрочем, там хоть идеологическая сущность не давила...

Гуляя по Бухаре, мы, увы, не чувствовали себя спокойно, ибо на самой окраине города движок нашей многострадальной машины застучал. Это означало, что в Баку нам уже не попасть. Шофер предложил дотянуть до Чарджоу, где тогда жила его бывшая подруга, и там заказать железнодорожную платформу, и ехать поездом в Москву. Собственно, иного решения не было. Поэтому знакомство с Бухарой было бедным и скомканным. И все-таки остались в памяти её образы — и огромный Шах (или, может быть, фарзин, визирь) Калян, и небесные купола с нахлобученными гнездами аистов.

И мы тронулись дальше в путь, на юго-запад, медленно, делая не более сорока километров в час. Да и некуда было больше спешить. Мимо проползали пески и стада одnogорбых верблюдов, а потом открылась ширь Аму-Дарьи. Переправа на пароме, тяжкое течение серых мутных вод, и вот он, придавленный жарой, дышащий знойной испариной город Чарджоу. Старины в нем я не увидел, все только XX век — «сталинки», панельные новостройки. Въезжая туда, я почувствовал — здесь мы застрянем надолго.

И наступили трудные времена. Мы поставили машину в квартале пятиэтажек, среди пыльных тополей. У подруги шоферовой побывали, чай попили, побеседовали, и отправились по делам. Побежали на почту, послали телеграммы в Москву, в институт, запросили деньги (когда еще придут? — ворочалась муторная мысль). А на почте, о чудо, работали два мощных кондиционера, и можно было подойти близко-близко и дышать, дышать благословенным холодным воздухом. А потом надо было запастись терпением и выдержать ожидание. Хорошо, что скоро пришел ответ из института с обещанием, что все будет сделано.

А пока тянулось ожидание, пошли гулять по Чарджоу, забрели в городской парк. Увидев поливальную машину, я обрадовался — сейчас посвежеет — а шофер моей радости не разделил, говоря — так сейчас парить начнет, дышать нечем будет. И правда, так потянуло сырым и горячим, что совсем невольно стало. Пошли дальше — а там бильярдная, да только мы с шофером какие игроки! Так, пооколачивались, да с содержателем бильярдной разговорились. Маленький чернявый мужичок, да не туркмен, а... условно русский. А может, еврей. Во всяком случае, юмор у него был, хоть сейчас в Одессу отправляйся. Он развлекал нас длиннющей смешной поэмой, написанной легким чередованием четырех- и трехстопного хорей, и описывались в ней, весьма пикантно, похождения дамочек на южных курортах:

*«Там лимоны, апельсины,
Сладкое вино,
Там усатые грузины
Ждут давным-давно».*

Смеялись, смеялись, а сердце глодало беспокойство, мысли роились — а как дальше-то? И, как часто бывало и бывает еще в подобных ситуациях, хотелось придержать время, отдалить неизбежный час работы, незнакомой и трудной, и решений, в которых не уверен. И в тот же момент вдруг возникало противоположное желание — чтобы скорее закончилось мучительное ожидание.

Классическим способом скоротать время всегда был и есть поход в кино. До сих пор вспоминаю как нечто комически-утомительное длинную ночь в аэропорту Якутска в начале августа 1991 года — рейс был утром, а ночь надо было как-то провести, вот и мыкался я из одного видеосалона в другой (видеосалонами тогда называли любой вагончик, сарай или гараж, в котором стоял видеоманитофон с телевизором, и были расставлены стулья), полузасыпая под очередной идиотский боевик или не менее идиотскую клубничку. Но в Чарджоу мне повезло.

Мы с шофером гуляли по парку, и наткнулись на летний кинотеатр. На афише значился «Али-Баба», это была совместная советско-индийская кинопродукция. Сам фильм был ярко охарактеризован в одной зарубежной (югославской!) рецензии, которую я прочел уже через

несколько лет. Там с иронией говорилось, что в этой картине гармонически сочетаются особенности советского и индийского кино: прогрессивный юноша выступает против засилья капитала и криминала и направляет обретенные сокровища на службу народному хозяйству под музыку и танцы, сопровождаемые обильными слезами, перемежаемыми не менее обильными улыбками на протяжении длительного периода времени, достаточного для крепкого и здорового сна.

Но дело даже не в фильме, который, при всех чертах, отмеченных рецензией, был ярким и развлекательным, а в самом летнем кинотеатре. Черное небо, южная ночь, благословенно теплая после жаркого до испепеления дня — все это было прекрасно. Не знаю даже, есть ли сейчас летние кинотеатры, в наше время электронного проецирования и долби-звука. Раньше было их много — в парках, в самой Москве. Еще, судя по фильмам и книгам, были они в Америке — у дорог, и туда приезжали на машинах (мы в свои пешком ходили, сочетая просмотр с прогулкой в парке). Наверное, много таких летних кинотеатров было в Индии, может быть, и сейчас есть.

Но кино, даже индийское, все равно кончается, а ожидание длится и длится. Что же, на помощь приходит нужда, которая и занимает время, тянущееся резиной. Есть что-то надо? Надо. Деньги при себе — можно пойти в лагманную. Огненный лагман в сочетании с полужамкнутостью помещения действует сильно, но в этом находишь спасение и защиту от дневного зноя на улице. Прекрасно, но дорого, деньги тают, а в магазинах скудно. Хорошо, есть хлеб, есть вино, а, скажем, сыра ну никак не найти. Про колбасу и не спрашивайте, такие уж времена были.

Тут шофер порадовал смекалкой. Сначала он высказал неожиданную идею о том, что если развести томатный соус, то можно его пить как сок. Попробовал и я, но понял, что так можно поступать лишь изредка, и если уж очень хочется. Укус, знаете ли, часто не попьешь.

А один раз увидели в магазине брынзу и, не задумываясь, купили. Увы, она была весьма почтенного возраста, высохшая и совершенно закаменевшая. Шофер, однако, не стал унывать. Ничего, сказал он, такую можно варить! Попробовали. Что получилось! Этот кусок почти кирпичной крепости после варки размягчился и стал напоминать по консистенции жевательную резинку, приобретя неопределенный вкус и выразительный запах. В общем, даже закусить вино им было трудно. В итоге наши кулинарные изыски деградировали до немудреной выпечки и рыбных консервов. Последние делились на две категории: бланшированные и обычные. Обычные предпочитались, а о бланшированных шофер со знанием дела говорил, что они изготавливаются из такой рыбы, которую вот-вот надо бы выбросить. Разнообразия здесь не наблюдалось — никаких лососей натуральных или там тунцов-макрелей, чаще всего килька с глазками (то есть, целая) в томате. Ей и закусывали.

Но вот деньги пришли, и настало время хлопотать, оплачивать платформу. Пообивали пороги, на удивление недолго, и получили направление на станцию Зергер. Проехали через город и на окраине выбрались на станцию, за которой, судя по карте, расстились пески пустыни Каракум. Там железнодорожники уже приготовили для нас платформу, и мы завели на нее машину. Шофер где-то достал деревянные бруски, смастерил чурбаки под колеса — я и не успел заметить и запомнить, когда и как он их сделал. Но это все были мелочи, главное нам только предстояло.

Надо было делать стропы, крепления из проволоки — за скобу платформы и за рессору или раму грузовика. Один из железнодорожников, старший по положению, если судить по тому, как он держался, сказал нам — делайте из проволоки, только каленую не берите. Лом есть?

Лом был. А где взять проволоку, нам не было сказано, выплывайте, как можете. Бродили мы по станции — тут и там мотки толстой проволоки, или же обрезки, куски. Ну, что же, взяли один моток; спросить, годится ли, боязно — не наше ведь. И давай, петлю туда, петлю

сюда, тянем, а она пружинит, гнется тяжело. Намотали и начали скручивать, продев лом через середину намотанных петель, изо всех сил вдвоем вращая лом. Раз провернули, два, но не тут-то было. Крак — и лопнула проволока. С тех пор знаю, каленая означает стальная. А для нашей цели железная, гнущаяся нужна. Странно, что шофер сразу это не понял.

Так и прошел день. Вечером еще бродили по станции, да все мотки, что валялись меж путей, были стальными. Огорченные и измученные, легли мы спать в кузов машины, и тут началась пытка. Налетели тучи комаров, очевидно, с каналов. Днем они спят, жара невыносимая, а ночью — на промысел. Вот ужас был... И ночью ведь жарко, а от них деться некуда, и ни пологов марлевых, ни репеллентов у нас не было, ведь мы же на Памире работали, на четырех тысячах метров над уровнем моря, где комаров не бывает.

Почти бессонная ночь, а утро как путь на казнь. Только солнце блеснуло, как навалилась жара. И в этой жаре начались новые поиски проволоки. Да, мотков не было, но зато нашлись спутанные, гнутые-перегнутые клубки этой самой проволоки. Ну, что ж, рельсов сколько угодно, разгибаешь проволоку руками, как получится, кладешь на рельс и молотком выправляешь, стук-постук, даром, что ли, в геологи пошел. Один большой кусок нашли, распрямили, потом долго и мучительно наматывали его, продевая через раму, а потом стали закручивать ломом. Пыль, ржавчина, жара сорокаградусная (а, может, и выше), сущий ад. Ну, как-то закрутили, а день уж на исходе...

Промучившись следующую ночь, мы активизировались, облазили всю станцию, совались в любые закоулки. А железнодорожников это совершенно не волновало. В итоге мы нашли еще несколько клубков толстой железной проволоки, и стало ясно, что теперь все стропы получатся. А мне стало ясно, что в этой системе главное — бери, что плохо лежит, да делай побыстрее свое дело, и не мозоль глаза.

И вот, все стропы были сделаны, и мы отправились в станционную контору докладывать, что машина окончательно установлена на платформе. Хорошо, завтра отправим вас — был ответ. О ужас, еще одна комариная ночь! Но, видимо, мы уже так намучились, что заснули, невзирая на кровопийц. А наступившее жаркое утро казалось просто благословенным, ибо работа наша закончилась, и можно было сидеть на платформе, пить чай и ждать. Все относительно, и то, что кажется сущим мучением, становится отдохновением после тяжелого труда.

Маленький маневровый локомотив зацепил нашу платформу и оттащил её на крайний путь, сцепив еще с несколькими. А потом медленно двинулся в путь по направлению к Чарджоу. Как же радостно движение после долгого изнурительного труда и, пусть недолгого, но все-таки ожидания. Дорога, железная дорога стелилась и блестела впереди, локомотив тихо тянул наш маленький состав, колеса постукивали, пусть редко, но постукивали, отсчитывая метры, десятки метров... И даже легкий, хоть и жаркий, ветерок овеивал лицо. А станция Зергер уходила назад, и с ней уходили так и не увиденные мной пески пустыни Каракум.

В детстве я наивно верил, что объеду весь мир. Тропическая Африка, аризонские красные скалы, идолы острова Пасхи казались мне пусть и трудно, но вполне доступными. В юности я думал уже иначе. Но, когда пришло время окончания университета и получения диплома, я посмотрел на огромную геологическую карту СССР, висевшую в рекреации, и подумал, что уж эти земли я точно все-все-все увижу... И поначалу во мне жила иллюзия, я вправду надеялся... Но наступили 90-е годы, и тогда, помнится, купил я атлас Московской области масштабом два километра в одном сантиметре и стал мечтать поехать туда, и туда, и туда... Наверное, даже в пределах большого города можно странствовать, если просит душа. И неважно, что многого не увидел и никогда не увижу. Важно только то, что в тебе, и то, что ты нашел на своем пути, подобрал и сохранил.

А неспешная дорога наша тянулась все дальше, и уже ползли по сторонам городские кварталы и пирамидальные тополя. Но вот начались разветвления рельсов, потянулись неподвижные длинные полосы вагонов. Мы прибыли на сортировочную станцию Чарджоу. Локомотив

отцепил нас и ушел обратно к Зергеру, а мы сначала ждали, а потом другой локомотив протаскивал нас несколько раз туда-сюда по станции, пока не приткнул к формирующемуся составу. Потом подогнали еще вагонов, с грохотом соединили, и мы оказались в середине огромного эшелона. И все стихло, только зной наплывал, затопляя мозг и обесцвечивая небо до тускло-серого цвета.

Мы сидели в кабине своей машины. Это было самое удобное место, лучше ничего невозможно было выбрать. Заберешься туда, сидишь в относительном покое, поглядываешь на окружающий мир через лобовое стекло, если оно еще не пожелтело от выхлопов локомотива (такое бывает, если прицепят близко к локомотиву — тогда его мощный дизель в течение долгого перегона обдаёт следующие три-четыре вагона). А если смотреть не на что, можно достать книгу и читать.

В те времена Средняя Азия была местом, где в магазинах попадались хорошие книги. Вообще, книги были великой ценностью для думающих людей моего поколения — их искали, выменивали, покупали у спекулянтов. Книга была дефицитом, иметь хорошие книги было престижно, читать книги было модно. Из-за этого я иногда с грустью думаю о той эпохе. Но сейчас важно не это, сейчас надо объяснить, почему в книжном магазине Чарджоу, куда я заглянул в период ожидания, еще до мытарств на станции Зергер, так вот, почему там оказался том «Памятников литературы Древней Руси», XIII век, третий том знаменитого издания под редакцией академика Лихачева. Очень просто — потому, что тогда была плановая экономика, и тираж книги более или менее равномерно распределялся по книжным магазинам огромной страны без учета читательского спроса. Столько-то попало в Москву и Ленинград, где большая часть ушла «налево», а остальное моментально расхватили спекулянты, знавшие время выставления книг на продажу от товароведов и продавцов. А столько-то попало в Чарджоу, где этим почти никто не интересовался, и пылилось на полках.

Вот так сидел я в кабине машины, кругом раздавался обычный шум сортировочной станции, а мне до него и дела не было, я читал повести трагического века России, пожарища Рязани и Козельска чернели в моей душе. Тут снаружи донесся крик. Мы с шофером взглянули — кричали с соседнего состава. Рядом с нами стоял большой серый вагон-рефрижератор, из окна которого выглядывали двое мужчин — один лет тридцати, с бойкими глазами и гусарскими усиками, другой постарше, с первой сединой. Старший, увидев, что мы смотрим, ухмыльнулся и крикнул — «Ну, заводи!»

Слово за слово, заперли мы кабину, и пошли к ним в гости. Пошли разговоры о том, о сем, выяснилось, что эти двое — профессиональные сопровождающие железнодорожных грузов, путешествуют так по всей стране. Стали они рассказывать про станцию Чоп, не помню, правда, отчего она им запомнилась, но говорили много. А я и сам вспомнил Чоп, где неоднократно пришлось мне бывать в детстве и ранней юности, во время поездок на поезде в Югославию, где мой отец был на дипломатической службе. Стоило вспомнить!

Чоп — маленький городок и большая железнодорожная станция в Закарпатье, на границе с Венгрией. Там уже нет гор, там широкая равнина, самое начало большой Паннонской низменности. На станции меняют колесные пары, широкие русские на узкие европейские и наоборот, смотря куда ехать. И каждый раз, пока длилась эта процедура, родители отправлялись со мной в привокзальный ресторанчик, где первым блюдом была хорошо запомнившаяся мне солянка, густая, золотистая и в красноту переходящая, с любимыми солеными огурцами и нелюбимыми мной в то время черными горьковатыми маслинами. А потом мы возвращались, вагон долго обходили советские пограничники, наконец, поезд трогался, за окнами медленно проплывали ряды проволочных заграждений, контрольно-следовая полоса, красно-зеленый столбик. А дальше была венгерская сторона, уже без проволочек и полосы, венгерские пограничники быстро проверяли документы, уходили, и поезд устремлялся в заграничный простор.

Это я вспоминал, но сам не рассказывал о своей дороге через Чоп, ибо уже хорошо знал, что рассказы о загранице вызывают зависть, а то и неприязнь. Молодой сопровождающий тем временем взял гитару и стал импровизировать на тему песни Верещагина из «Белого солнца пустыни». Беседовали, пили, закусывали салатом из помидоров. Я почувствовал, что развозит, попрощался и ушел в машину спать, уже темнело.

Проснулся от тряски, вагон качало из стороны в сторону. Выглянул — мчимся куда-то стремительно, вокруг пустынная равнина, кое-где кусты, временами тускло-голубые каналы. Вскоре и шофер проснулся. Трясло так, что нечего было думать о чае, глотнули холодной воды. Есть хотелось, а сготовить хоть кастрюльку риса или гречки было невозможно.

Тем временем поезд замедлил ход и остановился на разъезде. А там — домик, тополя, огород, в огороде женщина трудится, а наша платформа как раз напротив остановилась. Мы скорей-скорей соскочили с платформы, позвали. Попросили — продайте нам помидоры! Русская женщина, средних лет, приветливая, собрала нам полную миску, денег брать не хотела, но мы уговорили. Забрались обратно на платформу, поезд тронулся, она нам помахала. Словно сквозь бездну времени вижу её с поднятой рукой. Где ты, добрая душа, жива ли? Перенесла ли трагедии, что совершились потом, унижения от местных, нищету, изгнание? Грустно и горько вспоминать об этом.

А поезд мчался все дальше. Помидоры и хлеб стали нашим обедом, да много ли надо молодым? Главное — движение, главное — уносящиеся назад километры пути, главное — приближение к дому. К России. Я уже говорил, что с детских лет грезил путешествиями, странствовал в мечтах своих в дальних удивительных краях. А потом — жизнь полевого геолога такова, что поездки, путешествия составляют самую суть её. И когда я стал ежегодно уезжать далеко и надолго, то узнал о себе то, что прежде мне было неизвестно. Оказывается, во мне жила и живет сильнейшая связь с домом. Перед отъездом в экспедицию я всякий раз обязательно отправлялся погулять по Москве. Чаще всего в Лужники, поскольку этот парк был недалеко от дома, где я тогда жил. Там я проводил несколько часов, прощаясь с зелеными склонами Воробьевых гор, Москвой-рекой, стадионом, где я много раз бывал — но не на футболе, а в маленьком кинотеатре «Рекорд»... «Андрей Рублев», «Солярис», «Древо желания» — там смотрел...

А возвращение! Сколько эмоций, когда видишь после трех, а то и четырех месяцев экспедиции Москву в осеннем убранстве, когда лица в метро вдруг кажутся знакомыми (отвык от русских лиц), когда вдыхаешь влажный и прохладный воздух, в котором растворена золотеющая листва. Потом уже нашел параллель в английской литературе, в стихах Байрона о родном доме, где пес лает у ворот. А дальше я понял, что цель всякого странствия — возвращение.

Что же до описываемого путешествия, то оно с начала до конца и было возвращением, а города и станции этого маршрута были промежуточными пунктами на пути к дому. Один из таких пунктов уже приближался. Было еще совсем светло, но жара уже начинала спадать, когда мы прибыли на станцию Ургенч. Это древнее название носил один из больших городов Хорезма, полностью уничтоженный во время нашествия Чингисхана, потом восстановленный, но в XVII веке почти покинутый жителями из-за изменения русла Аму-Дарьи. Нынешний Ургенч, где расположена большая железнодорожная станция, вполне современный город.

Какая же радость дожидаться остановки поезда и увидеть, что локомотив отцепился и ушел! Это значит, что стоять будем достаточно долго, и можно не только отдохнуть от стремительного и совсем не комфортабельного движения, но и приготовить ужин — помидоры хорошо, но надо поесть что-то существенней. Готовили мы либо на примусе, либо даже на паяльной лампе — грубо, но быстро. Поели, наконец, и стали пить чай.

Тут нас окликнул молодой машинист-узбек (стоит сказать, что мы уже покинули Туркмению, Ургенч находится в Узбекистане, а впереди Каракалпакия и Казахстан). Мы его пригласили к чаю, он пожалел, что у нас черный, а не привычный зеленый. Как-то мы не запаслись

зеленым чаем, но это объяснимо, ведь работали мы на Памире, в высокогорье, и не готовились к жарким низинам Средней Азии. А зеленый чай, тогда малоизвестный столичным жителям, был, как я уже рассказывал, наиглавнейшим средством в летнюю свирепую жару. Уже позже, в 1984 году, в СССР состоялся Международный геологический конгресс. По всей стране прошли экскурсии для участников конгресса, одна из них была в горах Малого Каратау в Южном Казахстане, где в 1977 году я прошел преддипломную практику, так что этот район мне хорошо известен. Зверская жара, голый камень, никакой тени на геологических объектах. Иностранцы привезли с собой огромное количество пива, всякого Туборга и Карлсберга, но на второй-третий день все перешли на горячий зеленый чай. Что и требовалось доказать.

Если же мысленно отправиться в далекое прошлое, скажем, в середину XIX века, то можно узнать совсем неожиданное. Оказывается, в то время в России в ходу был именно зеленый чай, выращенный в Китае, преимущественно с цветочным ароматом. Об этом пишет Гончаров в книге «Фрегат «Паллада», весьма уничижительно отзываясь об английском черном чае, как о чем-то неприятном на вкус и прямо-таки наркотическом. Об этом свидетельствует Островский — помните «Грозу»? Куда отправляют Бориса Дикого после признания Катерины мужу? «В Тяхту, к китайцам...» А Кяхта, маленький поселок на границе Бурятии и Монголии, был тогда важным перевалочным пунктом на чайном тракте из Пекина в Москву...

Да, не было сейчас у нас зеленого чайку, но машинист все равно остался с нами и оказался он словоохотливым и любопытным. Рассказали мы ему, откуда едем. Естественно, он поинтересовался — куда? Как куда — в Москву! Удивлению нашего узбека не было предела. Да что там удивление! Он несколько раз переспросил, даже уточнил — так по этой дороге, через Казахстан едете? Ну, конечно, а как же еще? И тут нашего машиниста прорвало.

«Ребята... вы будьте осторожнее там. Они же на вас нападут, они убьют вас. Они же звери! Возьмите, что угодно, чтобы защищаться. Монтровка есть?» Шофер показал лом, сказал, что есть еще и монтровка, и кувалда. Тогда машинист немного успокоился, но все равно твердил — «вы не спите там, на разъездах очень опасно. Они бандиты, звери, они вас убьют спящих!»

С тех пор я всегда вспоминаю этот разговор, когда читаю или слышу про советскую дружбу народов. Нет, она, конечно, была, эта дружба. Только не всегда и не со всеми. Справедливости ради надо сказать, что в Казахстане, в том же мной упомянутом Малом Каратау я много общался с казахами, приходилось встречаться и с простыми людьми, и с образованными, и у меня не было и нет к ним предубеждения. Но слова машиниста-узбека меня тогда шокировали.

Стояли мы в Ургенче долго, наступила темнота. Ночью поезд тронулся, и утром мы пересекли восточный чинк (обрыв) плато Устюрт. Сыпучие склоны, подчеркнутые горизонтальными пластами, желтовато-серые, усыпанные сверкающими на солнце кристаллами гипса. А дальше поезд пошел по ровной как стрела дороге, пересекавшей плоскую сухую степь, унылый безлюдный пейзаж.

Дорога здесь была однопутная, и поезд останавливался на каждом разъезде, иногда на несколько минут, иногда на полчаса, а то и больше. Причем совершенно невозможно было угадать длительность стоянки. И, конечно, случилось то, чего я опасался с самого начала нашей поездки. Шофер на очередном разъезде куда-то отлучился, прошло несколько минут, и вдруг поезд плавно тронулся. Я глядел во все глаза, но никого не было видно, а поезд набирал ход, и вот уже мчался по пыльной глади Устюрта. Теперь я был один на платформе!

Одиночество, нередко желанное в большом городе, благословенное в краткие часы творчества, может стать не просто неприятным, но опасным и даже трагическим в путешествии. Я сразу ясно представил себе последствия — теперь мне не отлучиться от машины, вода кончится — а отойти набрать не получится. Просить кого-то на станциях? Разве что... Добрые

люди всегда найдутся. Но и дурные — тоже. В любом случае, я теперь один, и мне одному забота о машине, экспедиционном грузе и о себе самом.

Так я думал, пока поезд преодолевал перегон. Но вот разъезд, остановка. Вижу, бежит шофер, изо всех сил бежит. Вскочил на платформу, отдышался. Выяснилось — когда поезд тронулся, он успел забраться в тамбур последнего вагона, и так ехал весь перегон. Я, конечно, почувствовал облегчение, а потом снова задумался об одиночестве. Люди избирали его добровольно, люди искали его. И при этом пугались его. Религиозные медитативные практики, различные пути самосовершенствования, формы отречения от мира, аскезы. И — наказание, исключение из мира людей, изгнание, бойкот. Так одно и то же становится то желанным, то ненавистным. И сколько еще таких примеров помимо одиночества, способных и вознести и уронить!

Впереди была ночь. Темнело быстро, холодело, в ясном небе все ярче проявлялись звезды, и хотелось думать о прекрасном и таинственном. Степной простор содержит в себе отчетливую, сильную ноту Космоса — её слышишь, только подняв глаза к ясному ночному небу. Так было со мной еще в 1976 году в Монголии. Помню черные августовские ночи в Гоби, когда во всех концах горизонта в необъятной дали высились грозовые тучи, подсвечиваемые призрачным бесшумным огнем зарниц, а вблизи зенита сияли Вега и Альтаир, выделяясь среди бесчисленных светил. Мне было достаточно снять очки, чтобы множество звезд превратилось в рассеянное свечение всего неба — оно горело вечным светом, не сгорая, но светясь изнутри. И много позже, в 1992 году на полуострове Мангышлак, в холодной мартовской ночи мне так же сияло ледяное небо, сияло безмерным, прекрасным и пугающим простором. Есть некая справедливость в том, что космодром Байконур стоит среди практически такой же степи под ясным небом, открывающим Космос.

Космос, дивная мечта моего детства, полного восторга от первых полетов, от ожидания новых и новых чудес, что обязательно должны были стать явью, и очень скоро. В середине 60-х годов я нисколько не сомневался, что еще при моей жизни люди достигнут Марса, построят базы на Луне и огромные орбитальные станции, космические города на околоземных орбитах. Рэй Бредбери на склоне лет горько заметил — ничего этого не случилось, но зато люди вдоволь позанимались всякой чепухой вроде костюмов для собак. Правда, мечта осталась, и я вспоминаю о ней всякий раз, когда вижу звездное небо над головой.

Что же до нравственного закона во мне, то именно в эту ночь ему было суждено испытание. Поезд вновь остановился, как уже было много раз. Неожиданно, далеко впереди, на расстоянии не меньше десяти вагонов раздались громкие крики. Разобрать, что кричат, было невозможно. Не по-русски, яростно, сразу несколько человек, слышались удары. Похоже было, что напали на сопровождающих какого-то вагона, и мы сразу вспомнили машиниста в Ургенче... Без колебаний схватили ломы и стали ждать. Шофер тихо сказал мне — если полезут, сразу бей по голове.

Ломом — по голове. Как бы я поступил, случись нападение на нас? Вот тут мой мир, красивый мир моей прекрасной души дает трещину. Брешь быстро ширится, сквозь лазурь прёт чернота. О том, что дальше, не хочется думать. А надо бы, да только как?

*Целомудрие старца не подвиг, а немощь на похоть —
говорил в стародавние годы великий Святитель.
Вот и мы в наше время ведем себя вроде неплохо —
не кромсаем, не бьем, говорим поминутно — простите!*

*Но достаточно сбить надоевшую планку запрета,
на кровавую волю пустить аппетит обезьяний,
и тогда развернется он, страхом и злом разогретый,*

и попрёт, не считая ни времени, ни расстояний.

*И рука волосатая стиснет дубовую ветку,
и поднимет её, и узлами раздуются вены...
Это черное семя, наследство звериного предка —
от него не спасет даже чтение Тейяр де Шардена.*

Как же повезло нам, что никто не подошел к нашей платформе... Поезд тяжело взгремел и пошел, крики утихли. А мы так и не узнали, что случилось. Не было времени, остановки на разъездах коротки, отстать страшно. А потом эшелон перестроили на очередной сортировочной станции, не помню уже где.

Дальнейшие несколько дней просто смешались. Кончился Устьюрт, тянулась плоская Прикаспийская низменность. Помню, как проехали вполтину пересохшую Эмбу — цепочка луж, подумалось мне. Проползли мимо нефтяных вышек Доссора и Макита. Пересекли реку Урал. Стояли в Гурьеве. Странная апатия овладевала мной. Брал книгу, читал. «О дивно дивная и пресветло украшенная земля Русская» — плыли перед глазами строчки «Повести о гибели Русской земли».

Мы свою землю чаще умом любим, чем чувством. Можем восхищаться березовыми рощами, травой-муравой, речным плесом. Но стоит отправиться на экзотический юг или роскошный богатый запад, и своё, родное вдруг начинает казаться бедным, безыскусным, простоватым каким-то. Мне кажется, что лучшее средство для пробуждения любви к русской природе — это длительное пребывание в азиатской засушливой степи или пустыне, причем непременно равнинной, плоской. И чтобы обязательно было жарко и пыльно, так, чтобы тончайшая пыль обесцвечивала небесную синь, обращая её в нечто грязно-желтовато-серое. И чтобы не было зеленой мягкой травы, а росли бы только серые сухие кусты степной полыни, колючек, перекати-поля. Ну, если не хотите сами это видеть, перечитайте «Очарованного странника», там как раз об этом.

А потом мы как-то незаметно пересекли границу Казахстана и оказались в России. И ничего не изменилось для глаза — те же плоские выжженные солнцем пространства, кусты бедной растительности, верблюды. Потом, как миновали Астрахань и поехали вдоль Ахтубы, потянулись густые прибрежные заросли, повеяло влагой, захотелось свежей рыбы. У нас из продуктов остались только крупы, сахар и соль, все остальное кончилось — мы же не ожидали капитальной поломки машины, отправляясь в Баку. И на столе нашем уже давно доминировала килька «с глазками», та самая, в томатном соусе, что стояла штабелями в продуктовых магазинах.

Потом поезд вновь удалился от зеленой полосы в сухую степь, и, наконец, надолго остановился на станции Баскунчак. Было ясно, что стоим, как минимум, час, и я бросился в магазин. Очередь, длинная, медленная. Продавщица с каждым покупателем еще и беседует. Стою, то и дело оборачиваясь — как там поезд. Слушаю, не прогремит ли локомотив, сцепившись с вагоном. Нет, пока тихо. Очередь ползет по-черепаши, каждому надо то и это, вроде все купил, но начинает что-то вспоминать, потом, долго перебирая слова, из которых не все по делу, просит еще столько-то грамм того и этого. И жара, бесконечная жара, теперь уже астраханская, или нижеволжская.

Ну, дошла и до меня очередь, купил, что было, и к платформе. А локомотива все нет, и уже ясно, что и волноваться не стоило, все равно еще долго ждать. Сквозь просвет между вагонами увидел фрагмент пейзажа — одинокую гору Большой Богдо, заныла душа по геологии... Потом я спустился и стал бродить по станции. Между рельсами валялось множество всякой всячины: белые и розовые куски гипса, ярко-желтая сера, которую собирал шофер, чтобы окуривать деревья и кусты на своей даче. А главное — лежали арбузы. Большие, спе-

лые, расколотые, разбитые, упавшие во время погрузки. Можно было выбрать самый большой и самый красный, вынуть прямо рукой чистую сочную сердцевину. А потом искать еще один такой же арбуз.

И так прошел целый день. Вообще, за время этой поездки, этих мытарств, дни словно слиплись в один комок, подобно подмокшей карамели, и сейчас, спустя почти сорок лет, мне трудно разлепить их. Да и зачем их разделять? Пусть они и в этом повествовании будут слитными, текущими единой полосой, словно непрерывная лента дороги. Остался позади Баскунчак, и теперь поезд очень медленно двигался по узкому коридору между двумя бесконечными лесополосами, ограждающими путь. Шофер скучал, а я утешал себя древнерусской литературой. Где мы находимся, было непонятно. Но вот раздвинулись лесополосы, поезд вошел на станцию. На здании станции была табличка «Урбах». Яснее не стало.

Ну, ничего. Остановка длилась и длилась, и до меня дошло. Это же Саратовское Заволжье, некогда бывшее автономией с необычным названием «Трудовая коммуна немцев Поволжья». Оттуда и название. Многие железнодорожные станции сохранили свои названия во время кампаний по переименованию, иначе в копеечку все влетало — так мне объясняли. Впрочем, это объяснение не могло удовлетворить, ведь переименование города влечет еще большие издержки. Теперь мне думается, что в таких делах был какой-то интерес у железнодорожников, и министерство имело возможности и желание отказывать в переименовании станций. Хотя и не всегда, например, железнодорожные станции бывшей Твери в то время, как и город, носили имя «всесоюзного старосты».

Переименование называют войной с прошлым. Но оно и война с будущим. Это пристегнутый ярлык, еще хуже — поводок, закрепление в названии именно этой эпохи, именно этого деятеля. Между тем, время отшелушивает лишнее, сдувает сор. Есть городок Пошехонье, к которому прививали название «Володарск». Пошехонье — это старина русская, отзывающаяся родовым воспоминанием в сердце, это название, говорящее яснее ясного каждому русскому, осознающему себя. Володарск... Много ли найдется людей, помнящих, кто такой Володарский, и каковы заслуги этого деятеля?

Между тем, немцы из Заволжья давно уже рассеяны по Оренбуржью, Казахстану, а их прежняя малая родина сохранила только следы их пребывания — саратовские здания начала XX века в духе раннего экспрессионизма, да названия железнодорожных станций и некоторых городов. В Урбахе мы постояли. Кажется, была сортировка. Расскажу и об этом, дивное занятие. Состав расцепляют, вагоны по одному вкатывают маневровым локомотивом на горку — небольшое искусственное возвышение, откуда вагоны скатываются, а железнодорожники, работая со стрелками, направляют их на нужные пути. Вагон катится, сближается с составом, и — бабах! — сцепляется. Хорошо, что путевые рабочие всегда имеют при себе ценнейшее приспособление под названием башмак. Это простое устройство подкладывается на рельс под колесо вагона для его торможения. Иначе так может стукнуть, что костей не соберешь.

А пока катаются вагоны с горки, надо набраться терпения. Оно, терпение, постоянно требовалось в те времена. Эпоха очередей и дефицита длилась давно, не знаю, с какой поры. Ожидание в очереди могло быть и долгим, и бесплодным. Но душа человеческая, настроенная на это ожидание, душа жаждущая, была преисполнена не только терпения, но и осознания неизбежности и необходимости этого страдания.

Помню один случай, печальный и трогательный. В конце семидесятых годов нам как младшим научным сотрудникам и стажерам, выпадало несколько раз в год отработать в добровольной народной дружине (ДНД), помогая родной милиции. И вот, отправили нас на Ленинский проспект, к универмагу «Москва», на ту сторону проспекта, где сам универмаг, так что мы к нему спиной стояли. Раздали нам свистки и дали задание — если видим, как кто-то пытается перейти проспект, свистеть. Там вообще-то был подземный переход, почти у входа в него на противоположной от нас стороне проспекта останавливались автобусы и троллейбусы.

Но люди приезжали за покупками в универмаг «Москва» издалека, в том числе из других областей, и уже успели натерпеться в поездах, на московских вокзалах, в городском транспорте. И вот, наконец, добравшись к желанной цели, увидев совсем близко здание универмага, они достигали предела терпения и очертя голову бросались через дорогу, не замечая подземный переход. Боюсь, что были и пострадавшие из-за этого, в любом случае, милиция нас не просто так туда отправляла.

И вот, однажды на моих глазах случилось так, что женщина с ребенком, выскочив из троллейбуса, бросилась через дорогу, таща ребенка за руку, и, то ли в порыве она не слышала свистков, то ли не приняла их на свой счет, но, вилля между тормозящими и сигнализирующими автомобилями, она пересекла весь Ленинский проспект и выскочила прямо на нас... Увидев нас с повязками дружинников и свистками, она вконец растерялась. Мы ей говорим — ну, что же вы делаете, вот же переход, вы же и себя, и мальчика погубите. А она то растерянно на нас смотрит, то жадно — на универмаг, и заискивающим голосом просит — пропустите, пожалуйста, давайте, я вам штраф заплачу... Да не надо нам штрафа, вы только не бегите больше через улицу! Отпустили, и она устремилась в универмаг. Чтобы стоять там в очереди, так что терпение ей еще требовалось, и надолго.

В сравнении с этим ожидание на сортировочной станции совсем даже ничего — не надо бежать, не надо толкаться, не надо стоять на лестницах универмага (на этажах очереди не помещались). Сиди себе, да поглядывай на катящиеся вагоны, да слушай грохот, когда они сцепляются. Любуясь на работу станционных служащих, как они ловко подсовывают башмак под колесо, а потом, когда вагон достаточно затормозится, не менее ловко выдергивают башмак и спешат с ним к следующему вагону. Прямо кино.

Вот такое разглядывание неплохо помогало вытерпеть долгое стояние на станциях. Хотелось быстрее ехать — все ближе была Москва. С этих земель, с Заволжья, начиналась привычная Россия, её уже можно было чувствовать — в расцветающей лазури неба, в зеленых купах деревьев вдоль каналов и рек, в дыхании травы. Россия звала к себе, все сильнее и сильнее.

И вот, тронулись, и спустя недолгое время открылся водный простор, и прогрохотал поезд по мосту через Волгу, и мы очутились в Саратове. Было ясно, что стоять придется долго, и я отправился в ближайший магазин. Какой же радостью было тогда купить несколько плавленых сырков!

Тут не обойтись без пояснений. В Советском Союзе с его плановой экономикой продуктивное снабжение разных областей, республик и городов было неравномерным. Лучше всего снабжались Москва (в перспективе — образцовый коммунистический город, как о том вещали плакаты на улицах), Ленинград, Киев, хуже всего — малые городки Центральной России. Будучи в Средней Азии, я так и не понял особенностей их снабжения, но видел результаты — богатые столы (или дастарханы) и практически пустые магазины. Там господствовали рынок и связи. Поэтому нам приходилось нелегко — хлеб, мелкая выпечка, консервы. И поэтому саратовский магазин с банальными плавлеными сырками, что тогда народ прозвал закуской алкоголиков, показался мне просто благословенным местом.

Возвращаясь на станцию, забираюсь на платформу, и нахожу шофера в приятном нетерпении поглядывающим на подошедший эшелон, где на платформах красовались новенькие тракторы. Шофер сказал, что сейчас обойдет этот эшелон — в кабинах новых тракторов обязательно должны быть ящички с инструментами. Вот он и хочет поживиться. Ну ладно, иди. Сиж, жду. Через некоторое время шофер вернулся, разочарованный. Нет ни в одной кабине, все уже поперли!

К тому времени воровство в стране вообще, и на железной дороге в частности приняло поистине гомерические масштабы. Крали все, что можно было унести, не боясь, практически среди бела дня, и это не мои домыслы — сохранились и были неоднократно обнародованы уже в наше время доклады ответственных лиц в политбюро ЦК КПСС об этом явлении. Любители

нашей новейшей истории без труда найдут эти документы. Разворачивалась огромная страна, вступавшая в последнее десятилетие своей истории. Кто-нибудь может сказать мне, что это чепуха, вот потом так крали! А я отвечу, что не чепуха, что тогда люди учились красть, общались к краже, тренировались, и, как видите, хорошо научились и показали свои навыки в 90-х годах.

Кроме того, я сейчас говорю о тех впечатлениях, о том, как тогда это воспринималось. Для меня все это было предвестием бед, причем размах предполагаемых мной крушений был куда больше реально произошедших в 90-х годах. Впрочем, и тогда было не легче. А в этот день нам вообще не везло. Некоторое время возле вагонов болтался какой-то тип, заговаривал с нами, но ни о чем определенном разговора не было, так, пустые фразы. Потом он исчез. А после этого на нас ополчилась целая ватага десантников в тельняшках с соседнего эшелона — что-то у них украл этот тип. Хорошо, до рукоприкладства не дошло.

Железнодорожные станции вообще зоны риска: там крадут (мне то и дело снится дурацкий сон, на протяжении которого у меня крадут одну за другой вещи из багажа), там арестовывают, там этапируют (одно из моих воспоминаний 70-х годов — вагон-зак на станции Псков и лица зеков, вглядывающихся в простор воли), там гибнут люди, попадая под поезд, оказываясь в мясорубке крушения, и так далее. А еще железная дорога — это образ эпоса XX века, это нескончаемая череда разлуки и возвращения к руинам былого, это путь не по своей воле, а иногда и путь без цели. Думая обо всем этом, признаю, что мое путешествие 1981 года можно отнести к позитивным примерам...

Вот и Саратов остался позади, и теперь вокруг тянулись холмы, рассеченные балками, укрытые рощицами. Проехали Татищево, и шофер стал вспоминать, как служил в армии в этом самом Татищеве. Интересно, что для мужчин моего возраста служба в армии была в любом случае весьма примечательным событием в жизни — они и сейчас, в пенсионном возрасте, охотно вспоминают об этом, и иногда кажется, что они много бы дали, чтобы вернуться в годы своей службы, даже если она была трудной и сопряженной с массой пренеприятных обстоятельств, таких как общеизвестная дедовщина. Память, подобно фильтру, захватывает и сохраняет позитивные впечатления, выбрасывая негатив. Это понятно, об этом уже множество раз говорили. Но есть еще одна, не столь очевидная сторона дела. Не всякие события отфильтровываются памятью — было бы что выбирать из воспоминаний, а то бывают у многих годы и десятилетия, из которых и на полчаса рассказа не наберешь, и жаль этих лет и этих людей.

Служба в армии, впрочем, к этому не относится — из этих двух лет набирается не только дембельский альбом. Примерно так же можно сказать и об экспедициях — за три месяца столько всего происходит, что потом всю жизнь рассказываешь. Возможно, кто-то осудит меня за такое сопоставление. Ну, что ж. Один мой знакомый, вспоминая даже не об армии, а всего лишь о двухмесячных сборах летом после окончания университета, говорил, что это было выкинутое из жизни лето. Да, но сколько историй он рассказывал, и все из этого потерянного лета! Да я и сам расскажу, только попозже.

И эти дни лета 1981 года можно было бы назвать потерянными, если бы не богатство воспоминаний и сохранившаяся в них радость узнавания нового. Одним из удивительных впечатлений было постепенное возвращение в Россию, когда, как на фотобумаге в проявителе, сквозь раскаленную серую степь стали проступать небесная синева, зелень травы, кроны деревьев, по небу поплыли кудрявые облака, заголубела вода речек, усеянная блюдечками листьев кувшинок. И повеяло Россией, нашими, с детства знакомыми травами. Подумалось о том, какие же невероятной силы чувства должен был испытывать Афанасий Никитин после трехлетних странствий, когда он, измученный и тяжело больной, достиг Смоленска, и понял, что здесь ему умирать, и родную Тверь он уже не увидит...

А Россия тем временем обнимала все крепче, все зеленей становился её простор. Холмы саратовские сменились плоскими тамбовскими равнинами. Все представало знакомым и при-

вычным, и уже казалось, что больше ничего удивительного и необычного не будет в пути. Но нет! Недаром китайцы называют Россию «страной неожиданностей» — произошло событие яркое, оригинальное и даже комическое.

Случилось это, когда поезд подъехал к городку Кирсанов Тамбовской области. Город маленький, окраины все одноэтажные, окутанные зеленью садов, а подальше можно было видеть и невысокие строения центра, среди которых выделялась церковь. Вполне идиллическая картина тишины и покоя, казалось бы, городок мирно уснул. Но дальше...

Отовсюду — из домов, из садов, из калиток, в сторону замедляющего ход поезда бежали группы людей. Бежали так быстро, что стало ясно — их цель поезд! Это напомнило мне знаменитую сцену из фильма 50-х годов «Коммунист», виденную мной в детстве и крепко врезавшуюся в память. Так как этот фильм сейчас не показывают, или показывают редко, то напомним.

В этом фильме молодой коммунист Губанов (его сыграл Евгений Урбанский) сопровождает эшелон с зерном в город. Дело происходит в годы гражданской войны. На эшелон нападают, грабят, Губанов отчаянно борется, защищая свой груз, и трагически погибает. И вот, когда поезд стал замедлять ход и показались группы бегущих к полотну людей, я вспомнил старый фильм времен «хрущевской оттепели»...

К нашему вагону устремилась весьма колоритная группа: три огромные толстые бабы, каждая поперек себя шире, но отнюдь, кажется, не обремененные своим весом. Бежали они весьма бойко. А среди этих трех почтенных матрон ходячим недоразумением казался маленький, черненький, в меру пропитый мужичок неопределенного возраста. Я сказал — к нашему вагону подбегали, но это исключительно мой эгоцентризм, наша убогая платформа с грузовиком их никак не могла заинтересовать. Целью был соседний закрытый вагон, вверху которого зияла щель. Для вентиляции? Может быть, не знаю.

Подбежав к вагону, четверка стала действовать очень быстро и, вероятно, по заранее намеченному и хорошо отрепетированному сценарию. Бабы подхватили мужичка, посадили его и буквально впихнули в вагон. Он туда рыбкой нырнул, только ноги подрыгались в воздухе немного, а затем исчезли в щели. Потом этот мужичонка выглянул, опять скрылся, а дальше стал проворно выбрасывать из вагона арбузы. Бабы эти арбузы ловили и складывали на землю. Потом крикнули — «Хорош!» Мужичок высунулся из вагона, вылез и спрыгнул, бабы и его поймали, не хуже арбузов. А потом все три богатырши подхватили каждой рукой по два-три арбуза, прижали их к своим бокам дебелим и пошли восвояси, переваливаясь на манер Кинг-Конга, а мужичок трусил между ними.

Вот так довелось мне увидеть разграбление товарного поезда среди бела дня. Шофер потом из любопытства забрался в этот вагон. По его словам, большая часть арбузов в вагоне уже была раздавлена и перебита. Я же вспоминал вечные августовские очереди за арбузами в Москве, и то, как я стоял в этих очередях, чтобы купить, угостить маленького братишку, да и родителей. Грустно стало. А что из других вагонов тащили, я не знаю. Может быть, тоже арбузы? Или что-то иное, чего могли взалкать бедные жители Кирсанова, которым арбузы, наверное, и не завозили?

Вот какова Россия — и смешно, и горько видеть её, и любишь её, и плачешь над ней, и не знаешь даже, как охарактеризовать это удивительное иррациональное чувство. И думаешь — какая неустроенность, какая дикость! И вдруг теплеешь душой — вот он, дом. Вот она, родина! И я не хочу возмущаться, я соскучился, я хочу любить.

Покинули мы Кирсанов, миновали Тамбов, и к вечеру остановились в Мичуринске. Дореволюционный Козлов был родиной многих известных людей. Кроме Мичурина, стоит упомянуть главного художника соцреализма Герасимова, а также митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима. Много-много лет спустя прочел я воспоминания владыки, и в начале его повести нашел упоминание об Александре Герасимове, который в дореволюционные годы

занимался подновлением фресок кафедрального собора Козлова. Причудливы судьбы человеческие...

Но в то время это меня еще не занимало в силу моего незнания. Мне просто приятен был чуть прохладный августовский вечер на станции, где мы остановились надолго. Поскольку локомотив был отцеплен, мы без боязни прошли вдоль состава к вагону с вином, где сопровождающий за некоторую мзду нацедил нам своего нектара.

А дальше вернулись мы к себе, выпили этого винца, да вольно подышали свежим воздухом русского летнего вечера, особенно дорогим после тяжелой среднеазиатской жары. Я уже говорил о странной притягательности армейских воспоминаний, вот и у меня одно нашлось. Пусть это совсем даже и не армия, а лишь сборы после окончания университета, но все же... Лето 1978 года в Подмоскovie было дождливым и прохладным, но в конце июля погода более-менее выправилась. И тут нам устроили некий вариант учений, подгадав их к прибытию высокого университетского начальства, вплоть до проректора. Но мне не пришлось участвовать в этих маневрах, я в это время был в числе дежурных по кухне. И это было ох какое везение!

Отрядили нашу команду обслуживать офицерский банкет, где за столами сошлись преподаватели нашей военной кафедры и офицеры Таманской дивизии, в которой мы и проходили сборы. Первая наша боевая задача состояла в том, чтобы подготовить и разложить посуду, выгрузить из машины приготовленную еду и занести её в палатку, ну, и еще всякую помощь поварам оказать. После того, как мы все это выполнили, нам был вручен здоровенный бак, наполненный салатом оливье, а также несколько буханок хлеба. При этом мы получили еще один приказ — тихо сидеть в пределах видимости большой армейской палатки, предназначенной для банкета, и быть в полной готовности.

Друзья, как же прекрасен тихий летний вечер в средней полосе России, на берегу сонной речки с кувшинками, в тени лип и берез, среди цветущих зарослей тысячелистника и пижмы. Мы были счастливы. Щедрая порция салата, сколько хочешь хлеба — что еще надо солдатику? О выпивке даже и не думалось, до того хорошо было просто разговаривать о чем только вздумается, не выбирая тему, но позволяя диалогам мерно течь куда пришлось, подобно этой сонной речке, название которой я так и не удосужился узнать. И длилось это счастье целых два часа. Конечно, потом все кончилось, и нетвердо подбежал к нам молоденький лейтенант, от которого, как в рассказах Саши Черного, «сладкой водочкой так и полыхало», и крикнул нам — вперед, ребята, ликвидировать последствия ядерного удара! Ну, и начался обычный труд, посуду собрали, повезли на кухню, мыли, и так далее. Неважно, зато какая память осталась.

Наслаждаясь вечером, пусть на станции, пусть среди гудков и шума поездов, я чувствовал близкое завершение дороги, и в то же время как будто не верил, что все кончается. Но этой ночью действительно случился последний перегон. Мы проснулись в стремительно летящем поезде где-то уже после Коломны. Скорей приводить себя в порядок, насколько возможно! Грею воду паяльной лампой, потом мою голову, переодеваюсь, то же самое и шофер делает, а кругом несутся уже дачные поселки, еще немного, и пролетает Малаховка, а там и Люберцы, и вот впереди вырастают белые высокие коробки выхинских (в ту пору ждановских) панельных новостроек. Москва!

Нам еще предстояло покататься на Сортировочную, оттуда в Перово, потом опять на Сортировочную, но мы были в Москве. Возвращение домой... Это великая радость, таящая в себе многие обещания, и волнение, и скрытую до поры до времени печаль. Хорошо, когда можешь вернуться, когда тебя ждут, когда дорога твоя пришла к месту, из которого последует её продолжение. Жизнь длится, и это возвращение подобно привалу возле поворота дороги или перекрестка путей. И даже физическая неподвижность не означает остановки — пока течет кровь, пока летит мысль, путь продолжается. И мне иногда думается — ведь мы все в эти годы возвращаемся в Россию. Дай Бог!

(2020)

Путешествие из Стамбула в Анкару

Глава 1. Султанахмет

Стамбул, Константинополь, Царьград, великий город, «стоящий на водах многих», мечта вековая, золотые ворота меж Европой и Азией, символ величия и, одновременно, брэнности человеческих устремлений... Попав сюда, ощущаешь средоточие сил, энергий, аур — различных по своей сущности, от высоких до низких. Не на день, не на неделю, а на месяцы, на годы надо приезжать сюда. Жить, дышать его воздухом, его пылью, его страстью, его старостью.

И, приехав сюда, надо бы отрешиться от современности. Прохладный мрамор и мягкие кресла в холле отеля не стоит отвергать, ведь в каждом деле нужен отдых. Но пусть в памяти останется иное. Многоголосие веков, многоцветие камня и глины, твердость закаменевшего во времена незапамятные известкового раствора, впитавшего и не отдавшего кровь и жизнь.

Выйдем из бесшумного и быстрого трамвая у остановки Султанахмет, и, не отвлекаясь на пестроту лавочек, пойдём, куда глаза глядят. Угадать, куда же обратится взор, несложно, ибо совсем недалеко взлетают в небо десять минаретов — это Султанахмет и Айя-София. Туда. Туда, но по пути проходишь какие-то невысокие руины из красной плинфы. Стоит остановиться, ведь это ипподром древнего Константинополя, арена буйных игрищ и жарких страстей.

Спорт как средство политики, точка опоры государственности, национальный символ и скрепление противоборствующих сил общества — во всех этих ипостасях, взаимно связанных, направляющих и усиливающих друг друга, спорт был до самой сердцевины своей полно и адекватно понят и применён только тоталитарными империями двадцатого века. Но ничто не ново под луной, и баталии «голубых» и «зелёных», бывших в ранней Византии, по сути, политическими партиями, чем-то вроде тори и вигов в Англии, так вот, баталии эти, и расправа Юстиниана над восстанием «Ника», и стадион, ставший полем казни мятежных горожан — всё это слишком созвучно веку двадцатому, чтобы быть просто кадром исторической хроники или парой фраз из туристического путеводителя. Кстати, о путеводителях. Приходит какое-то непостижимо соблазнительное чувство, крамольная, может быть, даже непристойная догадка — не есть ли все эти перечисления веков, государей, архитекторов, полководцев и прочих знаменитостей, пересыпанные датами, которых никто не запоминает, за исключением единичных чудаковатых индивидуумов — не есть ли это один из символов Леты, забвения? Пройдёт праздный турист, увидит эти «объекты культурного наследия» на дисплее своего цифровика — красиво, но, увы, до ужаса банально. И файл, кстати, стирается так же до ужаса легко...

Но есть воображение, есть любовь, есть поэзия. И есть ещё страх — тот страх, что неведомыми путями, недоступными научному познанию (и, надеюсь, навсегда недоступными!) проникает в сознание среди этих руин, этих «священных камней». Любовь среди руин — символ прерафаэлитов, юность, соединившаяся с древностью, роза, взошедшая из крови тысяч обезглавленных янычар (здесь было своё «утро стрелецкой казни») — эти властные содрогания Духа (не стану говорить слово «ноосфера», ибо здесь не разум, а нечто совсем иное) — всё это так близко, что нельзя не почувствовать. Было бы желание. Впрочем, на нет и суда нет.

Да и самого ипподрома тоже нет, осталось лишь название, или что-то воображаемое — то ли мечта, то ли воспоминание. Нужно очень сильно разогреть воображение, чтобы в низких неказистых руинах увидеть закруглённую, «разворотную» часть некогда огромного строения. И только обелиски, да «змеиная колонна», памятники, украшавшие некогда центральную часть ипподрома — зримы. Причем, даже не зная ничего, обязательно станешь всматриваться. Сначала — большой из обелисков, сложенный из каменных блоков, часть которых выщерблена, полуразрушена, отчего создаётся впечатление древности, но она, эта древность, всегда и везде

относительна. Древность новгородских соборов, римских терм и палеолитических пещерных росписей неодинакова. Так и этот обелиск — он принадлежит эпохе византийской и куда моложе меньшего, но значительно лучше сохранившегося египетского обелиска, высеченного целиком из гранита при Тутмосе III, а в Константинополь привезённого при императоре Феодосии Великом. Египетский обелиск издали похож на косо заточенный карандаш, его заострённая верхушка асимметрична, и эта «неправильность» выделяет его, придаёт индивидуальность. У него есть турецкое имя — Дикилиташ, и сравнение с карандашом гиганта радует поначалу своим рифменным созвучием, но, увы, очень скоро огорчаешься, узнав здесь одинаковость корня — тюркского «таш» — камень.

Но большинству этот безостановочный поиск рифмы, это «просеивание» слов, то спонтанное, то осознанно методическое, совершаемое часто автоматически, на ходу, как некое рутинное каждодневное действие, о, большинству это непонятно, как, впрочем, и мне непонятны изящные рисунки иероглифов, покрывающих грани Дикилиташа. Разве что из нескольких популярных изданий по Древнему Египту вспоминается «картуш» — рамка плавных очертаний, окружающая имя властителя, а коли так, то можно срисовать или сфотографировать, а потом найти на фотографии имя Тутмоса III. Впрочем, и тут легко обмануться, ибо фараоны носили несколько имён — личное, тронное, ещё какое-то, а что написано на обелиске, так и остаётся тайной, так что *procul este profani*. Любуйтесь, но не пытайтесь проникнуть в тайну.

А времена нынешние таковы, что и самые ленивые у нас в той или иной степени знакомы и с научно-популярными опусами, и, что куда хуже, с альтернативной «наукой». Ничто так не раздражает во всём этом, как причудливая смесь мистики и фантастики с грубым рационализмом. Честное слово, куда приятнее фантазии древних, и мне было бы, не скрою, роднее считать Дикилиташ скипетром царя циклопов или лестригонов, или иных каких великанов из диких лесов и гор юности человечества, чем изделием неких башковитых пришельцев, оставивших нам сей Артефакт то ли для доказательства своего всемогущества, то ли затем, чтобы донести нам на полированных гранитных гранях некое послание.

И всё же он дразнит и манит, этот классически-красный монолит, и титаническим деянием предстаёт даже не история его создания, но позднейшая эпопея его транспортировки. Дикилиташ стоит на четырех бронзовых опорах, которые, в свою очередь, связаны с мраморным блоком — а на блоке этом позднеантичные барельефы рассказывают, как Артефакт погружали на корабль, как везли его по бурному морю. Вспоминается позднее — стоит в Париже на Place de la Concorde ещё один такой обелиск, а на основании его закреплена бронзовая пластина с мудрёным чертежом целой кучи кабестанов, канатов и прочей механики, с помощью которой монолит был поставлен вертикально. Уместна тут и читанная мной в детстве газетная статья о том, как выбирали в украинском карьере монолит для памятника Марксу на Театральной площади, и как потребовалась специальная, уникальная платформа, чтобы везти его по железной дороге.

И ещё одно. Он какой-то уж очень хорошо сохранившийся, этот Дикилиташ. Гранит совсем свеж, ярок, минеральные зёрна его по-прежнему крепко сцеплены друг с другом, а мрамор с рельефами, изображающими императора Феодосия и его сановников — оплыл, изъеденный водой, понемногу растворяющей камень, и зеленые подтёки окисляющейся бронзы покрыли его. Что древнее? Вопрос становится бессмысленным. Этот мрамор византийский, с его наивной повестью о великих усилиях, предпринятых для того, чтобы приподнять, переложить, погрузить и привезти Артефакт — всего лишь полуистлевший пергамент, а гранит египетский подобен Слову, что не стареет и не зависит от распада бумаги и аппетита книжных червей.

Третий памятник ипподрома — уже не обелиск, а странная бронзовая витая колонна, и нужно обладать либо знанием, либо очень живым воображением, чтобы увидеть в нем тела трёх сплетённых змей. Давным-давно сломали крестоносцы верхнюю часть монумента, и бронзу

ту переплавили невесть на что, а была она головами змей, на которые опирался треножник огромного жертвенника Аполлона Пифийского, и стояло это великолепие рядом со знаменитым храмом в Дельфах. И душа замирает, когда узнаёшь, что эти змеи и треножник были отлиты из трофейных щитов, взятых элинами при Платее. И тогда понимаешь суть мистического представления о душе вещи и о духе создания искусства, нестареющем, бессмертном, в неких эмпириях остающемся и тогда, когда его материальное воплощение давно уже расточилось на бытовой камень, рассеялось пеплом, а то и расплылось на атомы.

И эта бессмертность былого уже не оставляет, не отпускает; ей достаточно было того малого, что сохранилось на ипподроме, давно уже ставшем частью парка в центре Стамбула. И, раз уж мы прикоснулись к нему, предоставим слово фантазии, не претендуя на археологическую точность, но уповая на ту истину, что может дать только поэзия.

*Среди дорожного угара,
крикливой толчеи машин,
среди смятыцы базара,
среди ничтожества руин*

*я ощущаю тлен живого,
и вижу мёртвое живым,
и сердца жадная тревога
течёт по пыльным мостовым*

*туда, где над песком арены
народ беснуется, крича,
и кони раздувают вены
предощущением бича,*

*и бронза яростного гонга
над бурей искажённых лиц
протяжно возвещает гонку
каппадокийских колесниц,*

*и память камни собирает
в тугие мускулы аркад,
и кровь, и золото — до края
ты ими полон, Цареград.*

Гигантская опрокинутая чаша Царьграда — купол Святой Софии, увенчанный золотым полумесяцем, всплывает над кронами деревьев парка. Он тяжёлый, словно шлем великана, и опирается на столь же, если не более, тяжеловесное здание. Кажется странным, что на исходе античности, когда подводились итоги эпохи Гармонии, возникло столь экспрессивно-мощное и циклопически-громоздкое сооружение, небогатое внешними украшениями, не радующее соразмерностью колонн, застывших в экстазе под напором архитрава, но влекущее иным, титаническим масштабом, и созданное как будто не по правилам, не как принято было, но вопреки всему этому, взрывным напряжением человеческого духа.

Она подавляет и влечет, а вблизи неё уже теряешься перед огромностью стены, и, притягиваемый некоей силой, действующей подобно гравитации, но не имеющей названия и не воплощённой в формулах, оказываешься внутри великого храма. Какой контраст внешнего и внутреннего, формы и содержания! Если снаружи София подавляет, то внутри — возносит.

Объём её воздушен и лёгок, и именно там — дышится. И не давит купол, но зовёт — выше и выше...

Собор древен, его выстроили при Юстиниане, когда еще неизвестны были секреты и способы, открытые мастерами Ренессанса, умевшими поставить свод на четыре столпа. София же — трехнефная базилика. Но центральный неф так широк, так далеко раздвинуты ограничивающие его ряды колонн, что он-то и составляет почти все пространство Софии. И изнутри совершенно непонятно, на чем держится огромный купол, льющий свет, что свободно наполняет все пространство храма.

Вот здесь и разгадка внешней тяжеловесности Софии. Купол покоится на массивных опорах, выступающих по его бокам и создающих впечатление грузности, особенно отчетливой в сочетании с монолитностью стен. Форма и содержание находятся в разительном, очень сильно чувствуемом противостоянии, и тяжесть формы нужна, необходима — для легкости содержания, для воздуха — духа и сущности Софии. Истинная мудрость тяжела и непонятна со стороны, но легка и воздушна в сути своей, для понявших её. Истинная мудрость духовна, но одета плотью, а иногда и броней.

Противостояние формы и содержания, духа и вещества, лежащее в основе эстетики христианской, в чём-то отрицающей, но чем-то и дополняющей эстетику античную, проявлялось многократно в архитектурных формах. Лучший пример — Покровский собор в Москве, с его скоморошеской пестротой и азиатской вычурностью архитектурных объёмов — в этой внешности выразилось, если не по желанию зодчих, то по хотению народному, наружное веселие Блаженного, танец Давида, попрекаемого Мелхолой, карнавальный облик ряженого. Наполеон называл его мечетью, и был в чем-то прав, ведь этот собор надел на себя маску пышного восточного храма, притворился не тем, что он есть. А внутреннее пространство Покровского собора темно и тесно, ибо оно посвящено аскезе. Это узилище, темница духа страдающего и искупающего, это скит, который не надо искать, ибо он — в сердце.

На грани тьмы и света, на рубеже моря и лавы, в сопряжении и столкновении плотского праха и бесплотного духа рождаются шедевры, и в этом глаз ученого видит закономерность, а сердце поэта — истинную гармонию, отзвук замысла Божия, сущность самого творчества. И здесь, продолжая разговор о Святой Софии, стоит получше оглядеться, потому что в таком сосредоточении творческих сил можно увидеть небезынтересные и поучительные детали процесса, в исследовании которых смогут найти общий язык интуиция поэта и педантичность классификатора-эмпирика.

Стоит подойти к границе главного нефа, где возвышаются огромные пестрые мраморные и порфиновые колонны. Пишут в путеводителях, что колонны эти вывезены были из храма Артемиды Эфесской, того самого чуда света, что сжег Герострат, и восстанавливала потом вся Греция, но это оказалось не под силу, пока Александр не дал на завершение реставрации часть своей военной добычи. Так это или нет, но единственная сохранившаяся колонна великого храма в Эфесе — беломраморная, с каннелюрами, кроме того, она больше, чем те, что мы рассматриваем. Остается догадываться, что колонны Софийского собора взяты из внутреннего убранства храма Артемиды. Их некогда зеркально полированный камень где-то истерт, где-то выщерблен, где-то, кажется, изъеден, растворен с поверхности соленым морским воздухом, что столетиями вдувал босфорский бриз через огромные двери собора. Эти колонны древнее собора, но стали его органичной частью. Подобное явление нередко, если имеешь дело с древностями. Так, в средневековых церквях афинской Анафиотики можно видеть мраморные фрагменты, упавшие когда-то с круч Акрополя и ставшие строительным материалом. Так в иконостасах русских храмов стоят иконы, что много древнее самого сооружения, и что были некогда святынями более древних, может быть, деревянных храмов.

Продолжая аналогию, увидим, что и в литературе встречается подобное. «Песнь Дево́ры» — древнейший фрагмент (XII век до Р.Х.), встроенный в более позднюю Книгу Судей, стал не

только естественной частью повествования, но, более того, кульминацией. Высказанная мысль, облеченная в гармоническую форму, здесь и там встречается в трудах по философии, эстетике, истории, и нередко только там и сохраняется в своем первозданном, пусть и фрагментированном виде, как барельефы «Амазономахии» Скопаса, Леохара и Тимофея в стенах крепости рыцарей-иоаннитов, стоящей на руинах Галикарнаса. Мысль преобразается и отражается, и надо много знать и помнить, чтобы в «Муравье» Ломоносова узнать переложение эпиграммы Марциала. А иной раз бывает и так, что созданное во множестве, в ходе ремесленного копирования, пускай и очень умелого, и очень трудоемкого, но все же повторения, «потока», словами художника, попав в единичном или малом числе в чужую среду, становится единственным и неповторимым шедевром, вдохновляющим поэтов, становится великим символом и даже *genius loci* — как великолепные сфинксы Аменхотепа III на Набережной Искусств в Петербурге.

Не в этом ли сочетание смертности и бессмертия искусства, слияние Кастальского ключа и Леты? Твою мысль взяли, как древнегреческую камею, и оправили её, и вставили вместе с другими камнями, эллинистическими, римскими, средневековыми, и покоится она в стенке изящного ларца, которого касались руки сурового кондотьера и пышной венецианской красавицы с тициановским медным отливом тяжелых кос, и не по годам крепкие пальцы разорённого, состарившегося и вновь разбогатевшего Шейлока — и мы легко вообразим ещё и ещё, но никогда не увидим воочию ни их, ни мастеров, создавших камеи и сам ларец. И лежит он в Золотой Кладовой Эрмитажа, радуя глаз любителя редкостей, но оставляя равнодушными почитателей злата — им предлагаю полюбоваться туалетным прибором Анны Иоанновны.

И наши мысли, если каким-то из них суждено сохраниться в течение хотя бы микроскопически малого срока, скажем, ста лет, имеют шанс послужить экспонатами будущего воображаемого музея, где им предстоит сочетаться, как блескучему золоту и драгоценной, но мало заметной камее. Есть ли в этом залог некоего потустороннего, загробного счастья? Полнится ли гордостью дух Константина Великого, обозревая историю созданного им, но не увиденного в грядущем блеске Великого Града? Воскресни сегодня Петр Великий — был бы он доволен зрелищем града Святого Петра? Хотелось бы сказать «да», как хотелось бы и сохранности, неискаженности, чистоты слова — но история жестока, а людское недомыслие и небрежность непредсказуемы и неисчислимы.

Хочется поэтому радоваться, видя дожившую до наших дней древность, и даже граффити, процарапанные на массивной каменной балюстраде хоров не раздражают, как современная распысканная мазня на свежоштукатуренной стене ампирного особняка в Замоскворечье, но умиляют, особенно когда с грехом пополам прочтешь имя какого-нибудь Закариаса над датой — 1637. А с хоров пространство Софии видится иным — уже внизу золотеют круглые щиты с каллиграфическими речениями из Корана, и совсем далеко стрельчатый михраб, а впереди Матерь Божия с Чадом своим, тихо плывущая по увядающему золоту мозаики, и та же тишина в древних ликах императоров и императриц.

И как-то странно знать, что храм сей — третий на месте этом, ибо существовала еще Константинова София, а потом ее сменил еще один, более поздний храм, и лишь затем Юстиниан задумал выстроить новый собор, лучше, выше, великолепнее прочих, чтобы, войдя в космическое пространство главного нефа, воскликнуть — «О Соломон! Я превзошел тебя!» И, как много лет позднее папа Юлий II безжалостно снес римскую базилику Святого Петра, чтобы на её месте возвести величайший из соборов Италии, так и Юстиниан повелел снести до основания прежнее здание. Но от него остались малые фрагменты — чудный беломраморный фриз с овнами, завитки руна которых высечены были достойным резцом.

Эта фрагментарность и разрозненность дошедших до нас остатков вместе с их удивительной цельностью вызывают желание представить Софию-предшественницу, и видится она во мраморном облачении, в ритмах коринфских колонн, в неспешной повести барельефов, про-

честь которую сможешь, если только обойдешь все здание, словом, София императора Феодосия, да и первая, Константинова, кажутся воображению античными храмами. И, как всякий античный фрагмент, будь то локоток статуи нимфы или несколько слов из оды Сапфо, он, осколок этот, поразителен совершенно немислимым сочетанием раздробленности и цельности, ущербности и исчерпывающей полноты, и это сочетание так естественно, так зачаровывает плавностью линий своих, пусть и обрывающихся внезапно, что кажется кощунственной мысль продолжить их. Да и как продолжить? Да и можно ли что-то добавить к словам о том, что

*«Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам...»* (пер. В. Вересаева)

Но есть и другое. Именно двадцатый век стал ценить дошедшее до нас в его разбитости, искаленности, невозстановленности и невозстановляемости, ведь во времена Винкельмана сплошь и рядом приделывали отбитые носы Юпитерам и Антиноям. А потом стали вскрываться нелепые ошибки этих реставраторов, послужившие пищей юмористам, а дальше все это стало дурным тоном. Ладно бы так, но скульптура XX века начала старательно облачаться в такие фрагментированные, искусственно усеченные формы — но гармонии не возникло. Впрочем, это неудивительно, ибо гармоническое произведение можно разбить и разрушить, но, пока останется хоть крупинка его, она будет нести в себе дух прекрасного, как последний праведник во граде падшем несет в себе неоскверненную первородную частицу света и правды. Но сколько ни разбивай то, что изначально не совершенно — в осколках не родится шедевр.

Обратимся теперь к целостности иной, чем София, хотя и похожей на нее. Лучше всего видеть её с Босфора, когда рассвет, поднимаясь над анатолийским берегом, озаряет красную плотную мощь Софии и противостоящую ей, не менее огромную, но зрительно более хрупкую, кажущуюся женственной мечеть Султанахмет, известную более как Голубая Мечеть. Она — праправнучка Софии, её воздвигли в таком недалеком от нас семнадцатом веке. Полюбился туркам-османам образ Софии, и в 1453 году падишах Мехмед Фатих, побывав под её сводами, повелел не осквернять и не разрушать великий храм, а потом София стала мечетью, крест был сменен полумесяцем, а внутри появились мимбар и михраб, соседствовавшие с образами православными (их лишь в восемнадцатом веке покрыли побелкой, но в двадцатом открыли вновь по повелению Ататюрка). Но одно дело — конверсия, переделка, даже перестройка, и совсем иное — создание собственного! Долго, почти сто лет, турки, овладевшие Царьградом, не могли соорудить свой храм по типу Софии, пока это не совершил Синан, придворный зодчий Сулеймана Законодателя. Но огромный купол мечети Сулеймание далеко, у Золотого Рога, а Султанахмет выстроена позднее, по канонам Синана.

И был Синан для турок тем же, кем для нас, русских, еще раньше был великий Аристотель Фиораванти, строитель Успенского собора в Кремле. Оба решали одну и ту же задачу — создать огромный внутренний объем при меньших затратах, и решили её одинаково, поставив купол или пятиглавие на четыре огромных столпа, удерживающих все здание. И как Успенский собор повторился во множестве мощных пятиглавий, дорогих русскому сердцу, так и мечеть Сулеймание отразилась в более поздних созданиях, среди которых выделяется Султанахмет. Возвели её по воле необыкновенно набожного падишаха Ахмета I, который поставил цель создать величайшую и прекраснейшую святыню и достиг этого, и в день открытия мечети шел в торжественной церемонии в специальном головном уборе, имитирующем след ноги Пророка, попирающей его, властелина земного. Поневоле вспомнишь непринужденное, а иной раз и просто равнодушное отношение сильных мира сего к святыням...

След ноги Пророка нам еще встретится в путешествии нашем, а сейчас хотелось бы войти под своды Султанахмет, но, увы, за разговорами прошло много времени, и послышался дневной призыв к молитве. Неловко находиться среди духовного действия, не принимая участия в

нем, поэтому останемся в парке, присядем на скамейку, благо их там на всех хватит, купим ароматического питья у продавца воды в колоритном белом костюме и со странным сосудом за спиной, оснащенным сифоном, с помощью которого он цедит свой крющон. И послушаем пение муэдзинов — стоит потратить несколько минут.

У мечети Султанахмет шесть минаретов, максимум, возможный в мусульманском святыще. Исключение только одно — священная Кааба, где минаретов семь. Итак, шесть минаретов, и с каждого звучит пение призыва — велик Бог, и нет иного бога, и Мохаммед пророк Его. Голоса эти звучат не в унисон, но сливаются в сложном изысканном многогласии. Единственное, что печалит — сознание того, что голоса эти — запись, усиленная репродукторами. И думаешь, а каково же было во времена оные, при падишахе Ахмете, когда взбирались муэдзины, наверное, заранее, на высоченные минареты, и пели с их резных кольцообразных балконов на разные голоса, и живой звук, не оскверненный усилителями, наполнял немедленно затихавший великий город, и молчали базары и караван-сарай, и массы людей шли к мечети. Конечно, возможность записи звука дала нам очень много. Если бы она появилась на два столетия ранее, представляете, как бы мы слушали женский хор под управлением Вивальди, могучее содрогание органа, подчиняющегося крепким пальцам Баха, детские импровизации Моцарта... Жаль, как жаль... Но жаль и того, что глас муэдзина перестал быть живым.

Ну, что ж, отрешимся от мыслей печальных и дослушаем последние рефренные звуки призыва — Алла иль Алла-а-а — они прекрасны и в записи. В конце концов, мало кому из нас доведется увидеть воочию, скажем, водопады Игуасу, но в телевизоре-то мы их видели — и это благо. Пора в путь, ведь нас ждет еще немало интересного.

Глава 2. Топкапы

Стамбул стоит на Константинополе, частично поглотив его, частью впитав его в себя, но огромная масса византийского скрыта здесь прямо под ногами, под тонким слоем асфальта и еще метром, двумя, может быть, тремя — культурного слоя. Совсем недалеко от Султанахмет, стоит только пройти через лавки, где торгуют хорошими коврами за хорошие деньги, находятся фундаменты дворца времен Юстиниана. Кажется, древние греки не считали мозаичные полы какими-то особенными произведениями искусства — о них совсем не пишут древние историки и философы, их не упоминают поэты, написавшие массу эпиграмм, посвященных скульптуре и живописи. А ведь по изображениям этих мозаик мы судим об их искусстве — так они часто встречаются и так великолепны.

Мы уже поговорили о фрагментарности, стоит сейчас вспомнить о сочетаемости фрагментов. Собранные из многих осколков аттические кратеры и гидрии, десятки которых стоят в витринах каждого музея в этих краях, а сотни и тысячи дремлют в запасниках, очень часто являют собой примеры, противоположные тем негативным опытам реставрации древних скульптур, о которых уже шла речь. Здесь, среди фундаментов давно разрушенного до основания дворца, сохранилась масса мозаик, в той или иной степени поврежденных, но обычно достаточно полных, чтобы о каждой составить представление — что изображено, всегда ясно. Но дело в ином. Все эти мозаики были выложены в анфиладе залов, соединенных переходами, и вместе образовывали единое произведение, целую мозаичную симфонию в позднеантичном духе. Попробуем представить, как это было.

Гость, вошедший во дворец, должен был следовать из зала в зал. И вначале он видел картины мирной сельской жизни, нежной природы, счастливой Аркадии из эклог Вергилия. Купы деревьев, поющие птицы, прохладные потоки, поля и стада. Тихие и светлые образы сопровождают гостя в первых залах, и палитра их нежна, как летнее утро в ранние часы пробуждения земледельца, когда сама природа еще дремлет, и лишь опыт, а иногда предчувствие обещают жаркий день. Но с каждым следующим шагом что-то начинает меняться, что-то тревожное

чувствуется, и сами картины становятся динамичнее, насыщеннее красками. Волы тянут тяжелые плуги, трудятся люди, и труд их жарок, и небо пламенеет все ярче, и сгущаются далекие тучи, и предчувствие грозы обещает еще одну перемену. И она происходит, когда в следующих залах разворачивается жестокая драма. Охота! Своры псов гонят оленей, вопреку напарывается на рогатину, копья охотников пронзают бока и грудь тигра, и алые краски наполняют мир смуты, смерти и бессмысленной доблести человека, вступившего в поединок с самой природой! Это финал, трагический финал симфонии, разрушение идиллии, распад мира, судороги агонии.

Не таков ли был конец античности, богатой на войны и смерть, но всегда умевшей противопоставить этому духовную нетленность красоты, гармонии? Но о гармонии ли говорить, имея в виду эпоху Юстиниана? Его придворные, Агафий Схоластик, Павел Силенциарий — им принадлежит множество стихотворений, обыгрывающих все темы античности, но оставшихся лишь изящными воспроизведениями былого, своего рода поэтическими новоделами, обращенными назад, в обреченной попытке вернуть хоть на миг ушедшее навсегда. Но автор (или авторы) мозаик видел иное и сотворил иное. Его произведение — грандиозное античное барокко (если этот термин вообще здесь применим, да простят меня искусствоведы!). Да, барокко — или позднее Возрождение... Идиллия, на заднем плане которой багрово-черным наливаются тучи. Как если бы кто задумал составить некий континуум из полотен Питера Брейгеля Старшего — его мирной зимы с тем удивительным сочетанием лирического и эпического, где умиротворение холодного и бледного зимнего пейзажа несколько не мешает смеху ребятишек на льду замерзшего озера, и его же inferнальных «Ужасов войны», страшных особенно даже не тем, что изображено, но теми красками, что избрал великий художник.

Размышляя об этом, приходишь к мысли об относительности эстетики искусства, способного выразить страшное как прекрасное, а дисгармоничное и мятущееся — как целенаправленное, сверхидею, императив. И, естественно, вспоминается Лессинг и его «Лаокоон». Разумеется, и в мечтах не смею равняться с великим мыслителем, но просто желаю поговорить об еще одном скульптурном шедевре, тем более, что фундаменты императорского дворца уже остались позади, и мы постепенно приближаемся к воротам дворца Топкапы — древней резиденции османских падишахов. Но на пути нашем есть такой объект, пропустить который было бы непростительно... хотя именно подобные объекты большинство пропускает, причем сознательно. О tempora, о mores...

Я веду речь об Археологическом музее Стамбула — но не пугайтесь, в мои планы не входит проведение экскурсии по его многочисленным залам, мы ограничимся знакомством с двумя экспонатами. Впрочем, один из них таков, что составил бы гордость любого мирового музея. Я имею в виду голову статуи Александра Великого. Она происходит из Пергама, где какой-то даровитый скульптор местной (и прославленной!) школы в III веке до Р.Х. изваял превосходную копию не дошедшей до нас работы Лисиппа, созданной при жизни Александра.

Пройдя через двор музея, где под купами деревьев тихо спят огромные саркофаги, окунаемся в прохладу старого здания и находим главный экспонат. Как сочетаются двойственность и цельность в этом лице! И еще одно, парадоксальное в сути своей, но уже не удивляющее людей века нынешнего, хотя в античности бывшее чудом — это ощущение движения в неподвижном, отчего статуя есть поле битвы между *mobilis* и *immobilis*, замершее мгновение полета, прекраснейшее из воплощений противоборства духа и праха.

Его тяжелые черты, массивность низкого лба, крутая очерченность надбровий, жесткость носа — вся эта зримая вещественность, такая плотская, такая земная, рожденная на палестре и возмужавшая в алой крови бесчисленных сражений и в не менее алом вине столь же бесчисленных симпозионов — вот она, плоть неподвижная, тяжкая земная сущность, каменный *immobilis*, невидимые кольца змей на могучей груди Лаокоона. И сквозь эту броню плоти взрывом взлетает безумный взор широко открытых глаз, в дионисийском экстазе пророчащий

славу и смерть. И рот уже приоткрывается, но он еще расслаблен, еще не вздулись клубками змей мускулы, еще не взревела оплетенная жилами гортань боевым кличем «Эниалос», призывом на поле брани самого бога войны, громоносным криком, от которого содрогнулись даже слоны отважного Пора. Нет, это все лишь предугадывается, это только будет, пусть даже остались всего какие-то миллисекунды, но сейчас в этих губах — страдание и слабость, и странная жажда нежности, женской нежности, сквозь всю жизнь проходящей — материнской теплотой Олимпиады, девическим трепетом Роушанек. «Каждый любовник — солдат» — много времени спустя скажет Овидий, и в портрете Александра сквозь черты воина проступает боль обиженного ребенка и вызывающая к нежности, сама себя разящая страсть любовника. Он на вершине блаженства, он же — в пучинах скорби, он вбирает в себя весь мир в одно немыслимое мгновение перед тем, как ринуться в хаос во главе строя гетайров. Это мгновение и есть истина, и есть жизнь, и только в нем обретают друг друга плоть и дух, становясь единым.

Впрочем, есть и другие пути, не требующие ни страдания, ни вдохновения, ни иных громких страстей, но успешно достигающие своей цели. В полутемном зале, редко посещаемом ленивыми и нелюбопытными туристами, находится отменная коллекция разновременных и разнокалиберных саркофагов из раскопок Сидонского некрополя. Перл этой коллекции — огромный, траурно-черный базальтовый саркофаг позднеегипетской эпохи, высеченный для удачливого египетского военачальника, который смог (правда, последний раз в истории) вернуть под жезл фараона (да будет он жив, здоров и могуч!) азиатские провинции. Совершив сие деяние, стратег почил и упокоился вдали от земли Кемт в своем великолепном саркофаге, но, увы, ненадолго. Азиатские земли вновь, и теперь уже окончательно, отложились от Египта. Некий сидонский царек, захмелев от обретенной незалежности, провел ревизию государственной собственности и здраво рассудил, что незачем захватчику и оккупанту этот гроб, и повелел вышвырнуть останки египтянина, а саркофаг припас для себя, и, завершив свое славное царствование, упокоился в нем. Представляется что-то вроде объявления в газете — саркофаг, б/у, в отличном состоянии, \$ энная сумма, торг уместен. В конце концов, кладбищенское дело есть одна из наиболее древних форм коммерции, и в нем ничуть не меньше, чем в иных формах человеческой деятельности, идет борьба за престиж. Ведь если открытый белый «Феррари» или изящный «Бентли» есть престижные формы человеческого бытия, то роскошный саркофаг — престижная форма человеческого небытия. Впрочем, есть одно прекрасное создание человечества, что соединяет три в одном. Престиж, бытие и небытие удивительным образом сосуществуют в книге, написанной много лет назад и печатаемой в наше время крупными тиражами.

Вот об этом и стоит поговорить, присев на лавочку во дворе музея среди мраморных нимф и гранитных саркофагов. Можно угнать «Бентли» и покататься на нем, можно присвоить гроб, чтобы в нем упокоиться, а можно еще чужую книгу подписать своим именем, и будет очередной случай плагиата, ночного кошмара многих литераторов. Говорят, что, если твое произведение стибрили — это хороший знак, это свидетельство того, что украденный и покалеченный опус чего-то стоит. Что ж, утешение годится на подслащивание хинина.

Однако этим тема плагиата ну никак не исчерпывается, напротив, блещут все новые грани и ощущаются новые ассоциации. Оглядывая своим дилетантски-близоруким взором историю XX века, прихожу к забавной мысли о том, что литературовед-профессионал мог бы состряпать очень и очень достойную монографию о сем предмете. Да и моих немногих знаний хватает, чтобы вслед за мотивом знаменитой песни «По долинам и по взгорьям» слышать слова «Марша дроздовцев» —

*«Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда —
Офицерские заставы*

Занимали города!»

Забавно, что красный поэт (либо Петр Парфенов, либо Сергей Алымов — они долго боролись за авторство текста...), переделывая белогвардейский марш, попытался проявить особую вольность. Это же надо было подобрать к «славе» такую рифму (отбросив почему-то «заставу»):

*«Партизанские атаки
Занимали города»*

Атава — это молодая трава, растущая на месте скошенной. Слово очень и очень диалектное, мало кто его знает, даже не во всяком толковом словаре найдешь. Народ эти «атавы» не понял и, не лукавя, заменил «отрядами». Получилось без рифмы, но, говоря словами Зощенко, без рифмы и проще, и понятнее. На том и порешим.

А давайте еще вспомним, как при очередном чтении «Собачьего сердца» останавливаясь в изумлении, представляя забавного субъекта на приеме у профессора Преображенского: в кальсонах с черными кошками и с волосами, выкрашенными в немыслимые цвета «проклятой Жиркостью», да еще и бормочущего «верите ли, профессор, последний раз в Париже в 1903 году на рю де ла Пэ...». И думается, да не он ли стал впоследствии мощным стариком, гигантом мысли и отцом русской демократии, великолепным Кисой Воробьяниновым? Смешно, господа, но и грустно тоже.

Впрочем, смех становится особенно саркастическим, когда обнаруживаешь, что читанный в детстве «Старик Хоттабыч» перелицован с английского юмористического романа «The Brass Bottle». Самое замечательное в этой истории то, что заимствована квинтэссенция — ненужность джинна в современном мире, полном удивительных явлений, настоящих чудес. Итак, молодой, талантливый, но еще никому не известный архитектор находит бронзовый кувшин, и на свою беду освобождает джинна, который с тех пор на каждом шагу оказывает спасителю медвежью услугу. Молодой человек влюблен в дочь некоего магната, который (слышали бы наши нынешние!) терпеть не может роскошь и не выносит восточный стиль — джинн, понятное дело, не может не напортачить! Нормальная капиталистическая мораль о преимуществах self made man. Ну, а в СССР история зазвучала на социалистический лад, ибо «мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Предвижу возможные возражения, например, с полуоборотом в сторону Айя-Софии и вопросом — ведь это был православный храм, а стал мусульманской мечетью. Тоже вроде как плагиат архитектурно-религиозного свойства. Отвечу — был храм, и остался храм. Или, почти по мусульмански — был это храм Бога, и остался храм Бога, и нет бога кроме Бога. Это вам не машинно-тракторная станция в храме сельском, или клуб для танцуплек и игрищ бесовских в храме городском. Повезло Айя-Софии.

Тут еще один важный довод наклеивается — а как же Шекспир? Его сюжеты взяты из самых разнообразных источников, многие его произведения представляют собой переделки ранее существовавших, причем иногда, как в случае с «Ромео и Джульеттой», переделки уже многократно переделанного. Но тут есть одно обстоятельство решающего значения. Шекспир создавал бессмертные шедевры, пережившие века, что нельзя сказать об источниках. Да и вряд ли мы узнали бы что-нибудь о поэме Артура Брука или о новелле Луиджи де Порто, если бы не было Шекспира. К слову —

*Ныне известно любому — сюжеты бессмертных трагедий
из многочисленных книг брал без оглядки Шекспир.
Только для вас, плагиаторы, в этом ни толку, ни проку,*

как ни тасуйте слова, «Гамлета» вам не создать.

Впрочем, плагиат есть деяние осуждаемое, лишь бы доказать его наличие. Разумеется, ни один современный литератор, находясь в здравом уме, этим не станет заниматься. Но есть другое явление современной культуры — не плагиат вовсе, но особенное заимствование, притом с переименованием, куда более значительным, чем пристройка михраба в храме Софии. Скорее тут надо вспоминать клуб или ремонтную мастерскую. Говорю не в осуждение (пока), но лишь из чистого исследовательского интереса — не есть ли технология заимствования и переименовывания, принятая в постмодернизме, некий эволюционный отпрыск от древа плагиата, легализовавшийся и доказавший свою жизнеспособность? Довольно, впрочем, противный сорнячок, ибо наиболее обычная форма современного переименовывания заключается в инверсии — как поворот креста вниз во время черной мессы. А поскольку в классической литературе доминируют светлые и прекрасные идеалы и образы, то результат вполне ожидаем. Конечно, бывают отрадные исключения, вроде нашего дорогого фольклорного героя Василия Иваныча, становящегося в романе Пелевина тонким мистиком и глубоким эзотериком, но куда чаще приходится иметь дело с тремя сестрами, бегающими неглиже по сцене с истошными криками — «в Москву!». Зачем в Москву, и куда в Москву — вполне понятно и очень современно.

В общем, даже противно стало, и этот сидонский царек в саркофаге египтянина кажется вполне добродетельным в своем наивном варварстве. Можно просто присвоить что-то дорогое и красивое. А можно, присвоив, загадить его до неупотребления. Есть разница. Давайте, поэтому, встанем и отправимся туда, где нас не побеспокоят конвертация и инверсия. Этим местом будет дворец Топкапы — старая резиденция османских падишахов.

Необычен этот дворец тем, что по мере приближения к нему он не становится заметнее. Вроде какходишь в большой парк, обнесенный невысокой стеной, а в парке кое-где разбросаны небольшие строения, какие-то павильоны, и ничего архитектурно приметного и впечатляющего нет. Зато много деревьев и цветов, есть фонтаны. Дворец скромный, у него нет парадных фасадов, да и внутренние покои его не кажутся роскошными, напротив, выглядят холодноватыми, аскетичными, не кажутся уютными. Дворец совершенно не рассчитан на внешнее впечатление, похоже, Блистательная Порта получила свое название не отсюда.

Если угодно, наиболее интересны здесь сокровищница и реликварий — уникальные экспонаты радуют и утешают. В сокровищнице, кроме золотых тронов восточной работы (на них похож трон Бориса Годунова из Оружейной Палаты, он тоже восточный), так вот, кроме восточных тронов и отменного, но скучного бриллианта в 90 карат, есть целая коллекция роскошных колумбийских изумрудов. Это природные кристаллы, шестигранные призмы, иногда очень крупные, шире сжатого кулака, никак не обработанные. Только грани их отшлифованы, и глубокие тяжелые тона зеленого, того зеленого, что вопреки всем поэтическим сравнениям не бывает ни у травы, ни у листвы, но есть лишь у этой разновидности берилла — эти густые хромовые волны плывут из граней, а свет ламп обозначает живописность природных трещин и объемы чистых, ювелирных фрагментов в глубине кристаллов. За что-то их ценили такими, целыми, необработанными. В Европе эти камни были бы разбиты и распилены, чистые части были бы огранены и оправлены, но в Турции случилось иначе, и в этом нахожу некую справедливость, ибо природная форма минерала в его простоте и естественном благородстве не должна унижаться глупой блескучей огранкой, превращающей кристалл, «хранящий тайны темных руд», в мишурную безделушку. Оттого обожаю минералогические музеи — там можно видеть камни в их подлинной красе. И здесь эти неестественно огромные, на взгляд очень тяжелые камни, с трещинами и прослойками слюды — как самородки перед стандартными монетами. Они непригодны как украшение, они слишком дороги и велики для реализации, они слишком заметны для того, чтобы служить сокровищем, они в высшем смысле бесполезны

и не востребованы, как могучая музыка гения, вырастающая неподъемной скалой среди россыпей популярных шлягеров и шансончиков.

То ли преувеличены наши представления о восточной роскоши, то ли не все сохранилось? Кто знает... Впрочем, реликварий, при внешней скромности и помещения, и экспонатов, кажется, отмечает мысль о расхищении сокровищ падишахов. Ибо тут сохранились такие редкости, какими, боюсь, не сможет похвастаться ни один реликварий мира. Здесь собраны все важнейшие святыни ислама. Когда-то они находились в Дамаске, во дворце Омейядов, но потом эту династию истребили Аббасиды, сделавшие своей столицей Багдад, а когда наступил упадок Багдадского халифата, святынями завладели султаны Египта. Но в XVI веке падишах Селим I завоевал Каир и забрал все реликвии в Стамбул, став при этом халифом, духовным главой всех мусульман.

Реликвии следующие. Два списка Корана, выполненные самим Пророком, два меча Пророка, его лук, медная отливка следа его ноги (по образцу которой был сделан головной убор падишаха Ахмета, строителя «Голубой мечети», Султанахмет). И даже зуб Пророка, потерянный им во время сражения, когда камень из вражеской пращи попал ему в лицо. И еще мечи трех первых халифов.

О мечах следует сказать особо. Они не кривые, как обычно думают, это не сабли, а именно мечи, длинные, прямые, с широкими, и, вместе с тем, очень тонкими лезвиями. Вероятно, такой меч легок и очень гибок. Удивительно красивое оружие — хочется верить, что этот меч можно изогнуть вокруг талии, как пояс. И такая необычность их, непредсказуемый (для дилетанта) и совсем не восточный облик представляются мне очень вескими свидетельствами их подлинности. Если бы стали подделывать, то не так. Подделка узнается своей внешней правдоподобностью, а также удобной формой и удобной идеей, не противоречащей современным тенденциям. Но мечи Пророка и халифов настолько ни на что не похожи, настолько разнятся от всякого виденного мной оружия, что я решительно не могу представить их как подделку и полагаю, что в то время арабы именно так вооружались.

К чему я веду? Да к тому, что настоящее всегда не таково, каким его ожидают, и всегда в той или иной форме неудобно для понимания, восприятия, применения. Оно неудобно своей нестандартностью, неформальностью, нежеланием вписываться в некие нормы, навязанные либо стереотипностью, либо самодурством. Настоящее активно противостоит среде, оно оказывается вызовом, оно существует вопреки сложившемуся мнению. Настоящее еще и бесполезно, а, может быть, даже вредно кое-кому. И еще настоящее уникально, как огромный колумбийский изумруд или широченный прямой меч халифа Омара.

Глава 3. Галата

Чтобы попасть в Галату со стороны площади Султанахмет, надо проехать или пройти по мосту через Золотой Рог. Я иду, и не вполне уверен в правоте своего выбора, ибо смешанный запах жареной рыбы и мутных вод залива весьма убедителен. Несмотря на это, десятки турок стоят на мосту с удочками, то и дело подсекая мелкую ставридку. Непривлекательность Золотого Рога слегка затушевывается видом Галатской башни — колоссальная, готически островерхая, она вздымается над крышами теснящихся домов, словно донжон замка. По существу, так оно и есть, только от всего замка сохранился лишь донжон. Но какой! Моментально чувствуешь — это европейцы, это их бастион прямо в сердце азиатской империи.

Чувство это справедливо — генуэзцы, владевшие Галатой в XIV веке, надстроили и расширили древние укрепления, и даже потом, когда турки всем овладели, эта земля, помеченная латинским крестом, не подчинилась полумесяцу, да так и осталась европейской, христианской. Стоит вспомнить те, почти столетней давности, рассказы про улицу Пера, европейскую улицу

в азиатском городе. Эта улица сохранилась, дома и соборы на ней все те же, но название изменилось, теперь оно турецкое и труднопроизносимое — Ыстыклаль.

Но это название — как прилепленный ярлычок, не отражающий сути, что-то вроде «торта слоеного», как в советское время называли «наполеон», не вникая в то, что это кондитерское произведение было создано в России сто лет назад в память об изгнании Великой Армии, и что его обильная сахарная пудра символизирует снег Красного и Березины. И в наши дни ярлычок сам по себе отклеился, как бы повинувшись народу, все эти времена продолжавшему называть торт «наполеоном». Может быть, и с этой улицей произойдет то же самое? Как бы то ни было, я продолжаю называть ее старым именем — Пера, тем более что ассоциации с этим названием сильны.

Проходя мимо витрин европейских магазинов и порталов католических соборов, замечаю здание в стиле классицизма, очень знакомое. Да это же русское посольство, то самое, что так удачно взорвал Джеймс Бонд, он же Шон Коннери, за несколько эпизодов до этого полюбовавшийся на стройные ножки секретарши, докладывавшей в кабинете препротивной начальнице. В кино — взорвал, а здесь, наяву, оно стоит такое же, как было еще во времена Блистательной Порты, только теперь в нем не Посольство Российской Империи, а всего лишь российское консульство. Но — осталось, и достаточно лишь грана воображения, чтобы начали кристаллизоваться картины — женщины-цветочницы на тротуарах, теснящая толпа, где среди фесок и кепи нет-нет да и мелькнет фуражка, а дать волю, так и увидишь генерала Чарноту и услышишь его незабвенное «не бьется, не ломается, а только кувыркается»... И приходит тоска, и сжимает сердце как губку, но не раба по капле выдавливает, а часть жизни, часть души, и услужливо предлагает зелена вина, чтобы напиталась им алчущая обескровленная плоть.

Это чувство обескровленности, безнадежности, тщеты и невосполнимой никаким зельем утраты готово преследовать вдоль всей Пера, и не замечаешь ни роскоши пушного товара за стеклами витрин, ни груды мячей в цвета «Галатасарая» в огромной сетке, протянутой над головами поперек улицы. И начинаешь сравнивать бывшее с нынешним или недавним, чужбину по принуждению с чужбиной, выбранной добровольно, более того, желанной, чуть ли не обетованной. Наслушался я как-то экскурсовода в Праге — стоило вдуматься в то, с каким пие-тетом он рассуждал о чешском порядке, о прекрасном устройстве тамошней жизни, попутно с нескрываемым чувством превосходства и собственной избранности оговаривая, что вот в России-то совсем не так и вообще дрянно. Когда бы такое говорил немец, американец, да пусть даже чех или прибалтиец! Но от русского слышать эти ноты было особенно обидно. Впрочем, мои патриотические чувства были блистательно отомщены на следующий день, когда мы поехали из Праги в Чески-Крумлов. На выезде из города экскурсовод с гордостью сказал — здесь не Москва, тут пробок никогда не бывает. Разумеется, мы тут же попали в пробку минут на двадцать пять. Бог шельму метит.

Здесь, на улице Пера, русское присутствие ощутимо далеко не всем — надо кое-что знать, чтобы пробудились дремлющие почки. Куда как проще почувствовать родной дух в Аксарае, там еще недавно сновали толпы «челноков», таскали на себе мешки с товаром. Но это все не то, и отношение горожан становится отчетливым индикатором. В Аксарай даже идти не хочется, непременно начнут приставать, совать под нос всякие дурацкие товары. А здесь, если удастся разговориться с кем-нибудь из стариков, помнящих хотя бы сороковые-пятидесятые, то очень приятно будет услышать, что они помнят о первой русской эмиграции. Уверяю вас, это один из немногих случаев, когда за границей хорошо говорят о русских.

Минуем Пера, оставляем позади почерневшие от времени и смога дома в стиле «эklek-тик», а кое-где и «модерн», и спускаемся вправо к синеющему Босфору. Падишаху Абдул-Меджиду, царствовавшему в середине XIX века, изрядно надоели средневековые покои Топ-капы, и он захотел построить новый дворец. Была засыпана часть пролива, и на образовавшейся

ровной площадке выстроили мраморный дворец Долмабахче и разбили регулярный парк. Так европейское еще раз откристаллизовалось посреди восточной столицы.

Турки очень гордятся дворцом Долмабахче, особенно любят говорить о богатстве и роскоши его убранства. В самом деле, повсюду канделябры, люстры и жирандоли богемского хрусталя (был сделан специальный заказ), пестротканые восточные ковры и позолота резных деревянных потолков. Но роскошь есть во множестве иных мест, во дворцах других властителей Европы и Азии, да и в современных резиденциях. И роскошь эта может быть бессмысленной, как свалка золотых слитков, или хранящей тайны и пронизанной аллегориями, как анфилада Юсуповского дворца в Архангельском. Может быть роскошь бездушная и даже глупая, как золотая ванна. А может быть роскошь духовно богатая, ведь дворец есть прежде всего художественное произведение, а уже потом место проживания. В конце концов, Долмабахче был жильем только Абдул-Меджиду и его семье, а для всего остального мира, на весь срок существования его, который, надеюсь, многократно превзойдет по длительности эпоху правления сего падишаха — так вот, для всех людей, на все времена — это искусство.

Рождение шедевра не случайно. Оно происходит из сложения множества мыслей, образов, надежд, желаний, и направляется не одной лишь волей творца, но и дремлющими до поры до времени силами его духа. Идеалом творчества становится прозрение — тот миг, когда открывается истина, невыразимая ни в мысли, ни в чувстве, но способная воплотиться хотя бы краешком своим в произведении искусства. Источники этих плохо поддающихся анализу явлений находятся за пределами рациональной части личности творца — они в тех краях, куда опасно заходить, за плотно запертыми дверьми, где надписи гласят «ad leones», где готовы вострубить «боевые слоны подсознания». Но если мы и не узнаем никогда этого тайного, этого запретного, оно проявится вновь и вновь, как уже проявлялось в искусстве. Чем же? Прозрением, предвидением, пророчеством.

Но о чем пророчит Долмабахче? Его мелодия — тихий шум дождя, его цвета чуть пасмурны, его настроение — осень, время увядания. Этим и объясняется роскошь дворца — величие его убранства подобно златотканым мантиям и коврам наших лесов, когда природа перед погружением в холод и тьму зимы вдруг призывает на помощь все краски жизни, и с немислимой щедростью, похожей скорее на расточительство, осыпает деревья и поляны. Так и здесь. В середине XIX века Блистательную Порту уже открыто называли «больным человеком Европы», и падение многовековой империи было лишь вопросом времени. Но такое толкование было бы, увы, лишь узко политическим, кроме того, не всякая империя, увядая, дарит миру такие цветы. Известны сооружения позднего Рима, например, монументально мрачный дворец Диоклетиана, суровый при всей своей функциональности акведук Валента, но это совсем не то. В Долмабахче нет никакой суровости, никакой монументальности, никакой (упаси Боже) солдатчины (ибо дворец Диоклетиана напоминает казарму, пусть и роскошную). Долмабахче — тихий, даже кроткий уголок. Сад с извилистыми дорожками, древние кедры и магнолии, каррарский мрамор статуй — лев, попирающий крокодила, пантера с детенышами. Его лучше всего видеть во время дождя — тогда чувствуешь романтическое очарование и зрительно ощущаешь хрупкость дворца, мраморной раковины, лежащей рядом с Босфором, глубоким следом колесницы Времени.

И тогда понимаешь, что этот дворец не просто роскошная резиденция одного из последних владык увядающей империи, что смысл и дух этого произведения искусства не ограничены ни Стамбулом, ни Турцией, не заключены в национальные или культурные рамки. Это явление общее — вспомним романтические замки, строившиеся в Европе в ту пору, вспомним живопись прерафаэлитов и неоромантиков, городскую архитектуру эклектики и модерна, наконец, саму «прекрасную эпоху» — Долмабахче лишь один из её лепестков. И пророчество оказывается намного шире и намного страшнее. Оно гласит о наступлении времени, когда вместо Бога станут поклоняться худшим из его подобию, когда вместо прекрасного начнут ценить то, что

названо новым и мыслится оригинальным, и когда понятия «культура» и «эстетика» станут употребляться в значении чуть ли не противоположном изначальному, особенно при добавлении приставок типа «суб», «контр» и «масс».

Самое время, присев внутри беседки, окруженной взволнованными розами, поговорить о причинах и смысле явления. Характерно, что ныне чуть ли не все жалуются на разрушительную роль денег — культ «презренного металла» занял место истинной культуры, которая по определению может создаваться только нестяжателями. Логически — совершенно бессильными в наш прагматический век. Так ли это?

Все бы хорошо, но разве дело в деньгах? Они лишь средство, лишь слуги человека, а в нем, в человеке, истинные причины всех наших прежних и нынешних чудес и безобразий. Стоит сказать и больше — тот же дворец Долмабахче смог возникнуть только благодаря деньгам, причем очень большим. Деньги долго выкачивались налогами из населения империи, копились в казне, а потом выкристаллизовались в этом сокровище. И так было везде в те времена — и в Алушке у графа Воронцова, и в Глубоке-над-Влтавой у князя Шварценберга, да и в самом Нойшванштайне у Людвига Баварского. Перефразируя афоризм маршала Тривульцио, скажу так. Что нужно для создания высокого произведения искусства, подлинного шедевра? Деньги, деньги и еще раз деньги.

А если так, то деньги никакая не помеха искусству, но, напротив, его пища, его питье, его источник жизни, как ни вульгарно это звучит. И отсюда уже становится элементарным вывод о том, что дело не в деньгах, а в людях, обладающих деньгами. Вернемся, однако, к истории. С какого момента начинается кризис искусства, продолжающийся и поныне? А с того, когда в мире утвердился капитализм, когда место аристократов заняли буржуа, по-нынешнему — предприниматели. Новый класс стал совершенно иначе оценивать искусство. На первый план вышли такие качества, как новизна, неожиданность и парадоксальность, наконец, всеобщность, заключающаяся либо в предельной понятности для любого и каждого, либо в совершенной непонятности, доходящей до абсурда и обрамленной некоей тут же канонизируемой символистской интерпретацией. Гармония скучна, приелась, традиционность ретроградна и подается с отрицательным знаком. Красота же относительна, как нам убедительно разъяснили. Исключения, вроде обладавшего хорошим вкусом и тонко разбиравшегося в искусстве Саввы Мамонтова, не в счет.

Но любой вправе задать вопрос — неужели все дело заключается лишь в марксистской догме о базисе и надстройке, и сводится к способу производства? Как бы хотелось мне ответить отрицательно... Но я отчего-то не решаюсь. Ах, как все непросто в этом борении духа и вещества, борении, которого требуют обе силы, без которого они не могут существовать! А думать все равно надо, и придется идти далеко в этих рассуждениях, и без того уже пространных. В чем принципиальная разница между аристократом-феодалом и капиталистом? Оба могут быть жестокими и милостивыми, мизантропами и филантропами, просвещенными и не очень — в зависимости от жизни, от обстоятельств. Кто-то лелеет надежду, что наши нувориши насытятся деньгами и обратятся к культуре, а если не они, то дети их. Оправдана ли эта надежда? Понять её можно, лишь обратившись к той самой разнице, которую мы все еще не поняли.

А она — рядом, прямо с нами. Вот, сидим в беседке чудесного парка у дворца Долмабахче, любуемся роскошными кронами кедров и романтическим Босфором, и рассуждаем, пребывая в праздности. Заботы жизненные нас не тяготят, напротив, впереди еще столько прекрасного, нового, волнующего, ведь путешествие наше еще только началось. Предаемся праздности, значит? Так ведь именно праздность отличает графа Х от президента совета директоров Y. Х хочет жить красиво и изящно, так, как жили его многочисленные предки, и даже лучше. Y хочет жить богато, так, как его предки и не мечтали. Соответственно, все мышление Y направлено на увеличение состояния, и к искусству он будет относиться точно так же. Какое искусство принесет большой доход в будущем, такое и актуально. Следовательно, инвестиро-

вание с целью получения прибыли — более рисковое, менее... Но это уже неважно, главное сказано.

А теперь подойдем с другой стороны. Понятно, что в искусство надо вкладывать и вкладывать деньги. Но нельзя делать это с расчетом на прибыль! Что интересно, почти таков и принцип самого художественного творчества — оно самоценно, а это значит, что художник не вправе планировать доходы от него. Получатся доходы — хорошо, не получатся — жаль, но это лишь побочный результат, а не цель творчества. Итак, и художник, и заказчик должны подходить к этому вопросу с позиций нестяжательства. Утопия? В наше время — да. Означает ли это принципиальную обреченность искусства в нашу эпоху? Полагаю, что все-таки нет. Скорее обречена наша цивилизация, стоящая до сих пор на принципе «производство ради производства». Тут пока ничего не поделаешь, так как требуются рабочие места, требуется непрерывный рост национального дохода, надо обеспечивать бюджетные отрасли, пенсионеров, здравоохранение, а население мира растет и не думает останавливаться, и точно так же растет потребление. «Золотой миллиард» жаждет потреблять еще и еще больше, и не думает о самоограничении даже перед надвигающейся опасностью всеобщего истощения. А человек? Он всю жизнь бежит, он марафонец, пробегающий мимо красот мира и лишь краем глаза отмечающий их существование, и не более того. Даже серьезный и любознательный турист, и тот спешит увидеть как можно больше, и смотрит, смотрит, ничем не успевая в полной мере полюбоваться. Мы пожираем культуру как гамбургеры, не особо вникая во вкус и заботясь лишь о насыщении. А надо бы не так. Вот, тот же дворец Долмабахче. Пока мы беседовали, пасмурная погода, державшаяся некоторое время после дождя, успела смениться солнечной, заиграли струи фонтанов, еще темнее и контрастнее стала хвоя кедров и араукарий, посинел Босфор, и желтоватый камень дворца впитал в себя немного солнышка. Он, этот дворец, оживает воспоминаниями навсегда утраченного, он печалится о своих владельцах и жителях, что никогда уже не вернутся, не пройдут по его лестницам с хрустальными перилами, балясинами и жирандолями. Все в прошлом, и сколько миллиардов ни вбухай, такого уже никто тебе не построит. Разве что копию или имитацию. Вот вам и оригинальность, вот вам и новизна искусства современного — она реализуется лишь в упрощенных, грубых и функционально-индустриальных формах.

Впрочем, довольно о грустном. Пока есть люди, понимающие красоту, верящие в нее — искусство живет. Оно сохраняется как почки дремлющего дерева, а зима нынешняя не первая в истории, и закончится она, как в свое время закончились «темные века Европы» — с той разницей, что нам не придется выкапывать фрагменты мраморных Венер и Юпитеров, подобно итальянцам эпохи Возрождения. Вот оно, здесь, как на ладони — и Айя-София, и Дикилиташ, и дворец Долмабахче. Простимся с ним, нам пора в путь.

Глава 4. Бебек

Мы все никак не строимся в сторону Анкары, но это неудивительно, уж очень много интересного кругом. К тому же прямой путь скучнее извилистого. Есть некая особенная поэзия в тонком плетении дороги, взбирающейся на горный склон, равно как и в излучинах реки, неторопливо вьющейся по равнине. Спрямление дороги, сопровождаемое взрывами и прорубанием скал, так же как и спрямление реки с неизбежным прокапыванием каналов и устройством дамб, не говоря уж о перегораживании рек плотинами, всегда казались мне грубым и безобразным насилием, какие бы цели благие не ставились и достигались при этом, и всегда мне было очень грустно читать строки:

*«Человек сказал Днепру —
Я стеной тебя запру!»*

или

*«и, точно танки РГК,
двадцатитонные минчане,
качнув бортами, как плечами,
с исходной, с грузом — на врага!»*

Но, к счастью, не всякую дорогу можно спрямить, и здесь именно такой случай, ведь путь в Бебек определяется множественной кривизной Босфора, выющегося как река между Европой и Азией. И, повторяя все изгибы Босфора, по европейскому берегу проходит дорога, по которой и стоит отправиться по-простому, на городском автобусе. Извилистый путь позволяет увидеть непрерывную смену панорамы, когда синева Босфора то открывается проходом на север, то закрывается гористыми берегами, смыкающимися в перспективе подобно Симплегадам аргонавтов (каковыми, в сущности, они и были согласно многим толкователям Гомера и Аполлония Родосского).

А ведь Босфор и есть река, точнее, затопленное морем русло реки, в геологическом прошлом прорезанное черноморскими водами, избыток которых, пополнявшийся за счет тающих ледников, устремился сквозь западные отроги Понтийских гор на юг, к обмелевшему Средиземному морю. И русло получилось извилистым, потому что пролегло либо по менее плотным породам, либо по участкам, ослабленным разломами. Поэтому здесь много поворотов — и плавных, и крутых, и каждый раскрывает новую сторону пейзажа — еще один уклон горы, еще одну скалу, или крону сосны, или изукрашенную балюстрадами виллу. В идеале надо бы проехать вдоль всего Босфора, тогда только и увидишь его всецело. В этом редкая параллель с процессом творчества. Как ни старайся, невозможно одним знаком определить образ — допустима лишь условная замена образа неким символом. Например, мы можем обозначить розу буквой альфа, а соловья — омегой, но это будет всего лишь непонятный для чужого глаза шифр. Предел абстрактного искусства — тоже шифр, возможно, недостаточно понятный и самому создателю его, притом, что его плоскостность, однотонность (или бедно-тонность) и без-перспективность, казалось бы, должны вести к безусловной однозначности толкования, а за ним и понимания, да только это никак не выходит...

Путь настоящего искусства нетороплив и не прям. Надо пройти по нему, не покидая и не «срезая» его многочисленные, кажущиеся нелогичными повороты, потому что с каждого изгиба пути открывается тебе единственный, не воспроизводимый нигде, и не заменяемый ничем вид. Этот вид становится гранью, состыкованной с множеством подобных видов-граней, а вместе они составляют образ. Тот самый, что так абсурдно пытались мы обобщить в виде символа, тот самый, что мы еще не увидели, ибо путь не пройден и до половины. Но самое удивительное то, что образ этот в целости и не будет увиден ни нами, ни кем-либо иным, никогда не будет. Лишь грани его, кадры, ракурсы проявятся, и в воображении образованного и одаренного зрителя или читателя они сложатся в несуществующую картину, что станет вопреки логике реальностью, но лишь в будущем.

Именно здесь исток того чувства, которое возникает при соприкосновении с прекрасным, с шедевром — его невозможно охватить умом, изложить речью, сохранить памятью во всей полноте. Невозможно пересказать совершенное стихотворение прозой, потому что неизбежны потери, но не смысла, нет, а некой сущности, превосходящей самый смысл и возвышающейся над ним как невесомая белая громада парусов над плотным и тяжелым корпусом корабля. Невозможно передать фотографией полноту скульптуры — это будет лишь один взгляд, с одной точки, скульптура же требует, чтобы вокруг нее обошли. Точно так же и Босфор, этот шедевр природы, надо видеть в движении, и впечатление о нем складывается из множества мгновений, медленно проходящих, текущих, как течет и сам Босфор, ибо он, по существу, остался

рекой. Менее соленая черноморская вода движется нескончаемым потоком всего верхнего слоя вод Босфора, движется на юг, к Мраморному морю, и это движение отчетливо видно на поверхности — струи увлекают полосы пены и мусор, временами среди струй образуются водовороты. А в глубоких, донных слоях Босфора существует невидимое нам таинственное противотечение, несущее соленые и тяжелые воды Мраморного моря во мрачные черноморские глубины, где нет кислорода, и почти нет жизни.

Босфор — двойная река, два потока, слившихся воедино: в одном живая вода, в другом мертвая. Его течение лучше всего видно в самом узком месте пролива; здесь уже кончился Стамбул, здесь его пригород Бебек. Романтические виллы, полупогруженные в зелень садов, чередуют деревянную резьбу и мраморные балюстрады, античная нагота статуй одевается хвойной роскошью кедров. В этих образах — отражение Долмабахче, только уменьшенное и размноженное десятки раз. Есть что-то идиллическое в этих виллах, роднящее их с маленькими шато где-нибудь вблизи Шартра или Этампа, или с полусонными русскими усадьбами в белом аромате яблоневых садов. Интересно, что красивое всегда роднится с другим красивым своей непохожестью — так, любясь французским готическим собором и среднеазиатским мавзолеем, видишь и там, и там указание на Небо, но такое разное в проявлении своем, такое непохожее по стилю, чувству, выражению. Напротив, безобразное удручающе похоже во всех своих проявлениях...

А над виллами и садами Бебека древней короной возвышается великолепная крепость Румели-Хиссар. Её зубчатые стены высоко взбираются на прибрежные холмы. Напротив, на азиатском берегу стоит еще одна крепость — Анадолу-Хиссар. Получается эффектное романтическое противостояние двух твердынь, европейской и азиатской. Но на самом деле никакого противостояния нет и не было, обе крепости сооружены турками-османами в XIV веке, когда им понадобилось перекрыть Босфор. После этого окончательно обезлюдел древний Херсонес, обречены были на гибель города христианского княжества Феодоро в Крыму, захирели генуэзские колонии, и Черное море стало «турецким озером». Румели-Хиссар и Анадолу-Хиссар — неприступные ворота Босфора. Тяжеловесная мощь их башен резко контрастирует с хрупкой эфемерностью вилл Бебека. Виллы, по меньшей мере старейшие из них, задуманы были как художественные произведения, а крепости — навряд ли. Тем не менее, именно крепости особенно оживляют и украшают ландшафт. Так бывает часто — что-то утилитарное, созданное для узко материальных целей, долженствующее защищать, преграждать, становится с течением времени, когда изначальная надобность отпадает, произведением искусства. Иногда этот переход приводит к достраиванию и перестраиванию крепости, чтобы больше её украсить. Так произошло с Московским Кремлем, когда в XVII веке его башни были увенчаны нарядными шатрами, никакого фортификационного значения не имеющими, так было и со многими французскими замками, рассеянными по зеленой долине Луары.

Но вот вопрос. Представим какое-либо функциональное сооружение XX века, например, плотину Красноярской ГЭС или взлетную полосу большого аэродрома. В будущем, когда эти сооружения перестанут быть нужны благодаря развитию новой энергетики и новых транспортных средств, вряд ли их станут «достраивать и украшать», скорее просто демонтируют за ненужностью. Кошунственным выглядело бы превращение Чернобыльского саркофага в некое подобие замка, хотя размер подходящий. Все эти громады, приходя в негодность, обнаруживают какое-то убийственное уродство — плотина гидроэлектростанции хороша только в целости и в работе, разрушенная плотина отвратительна, а ведь разрушенный Парфенон все равно прекрасен. Как-то в середине «нулевых» годов наблюдал я к северу от Сумгаита на пустынной плоской равнине множество брошенных заводских корпусов: осыпающийся бетон в потеках ржавчины, обнаженные стальные конструкции. Декорация для особо мрачного фильма о гибели человеческой цивилизации, о беготне и драках каких-нибудь каннибалов и калибанов,

шныряющих по этим развалинам, где нет ничего человеческого, где все настолько механистично, грубо и примитивно-коробчато, что и не особо жаль подобную «культуру».

Но крепости, эти древние каменные венцы, стоят на берегах южных морей, на холмах у слияния русских рек, опоясывают горные уступы Азии, поднимаются над зелеными травами северных островов. Они остались живы и теперь, когда их стены уже не знают оружия и бранных криков, и уже не разделяют людей, но соединяют их — в любви к прекрасному и в памяти о прошлом. Если бы и границы, разделяющие нас, превратились бы в то, что соединяет!

А ведь мы сейчас рядом с границей, причем особенной, символически значимой, великой границей двух огромных миров, двух частей света, Европы и Азии. Окинем эту границу мысленным взором и удивимся противоречию между её четкостью в сердце и уме, и неясностью, даже спорностью на карте. На севере идет она по водоразделу Урала, отделяя собственно Россию от Сибири, и не выходит из пределов единого государства почти на всем пути, кроме самой южной части, где она как-то незаметно ускользает в пределы Казахстана. Уже на Урале граница эта очень условна, а южнее и вовсе произвольна — там, где снижаются Уральские горы, и единственной разделительной чертой становится река Урал, текущая уже по равнине. Оба берега реки одинаковы, степь отделена от такой же степи. Далее лишь на карте можно прочертить прямую линию по северу Каспийского моря, линию, не находящую своего воплощения в природе. А к западу от Каспия начинаются «спорные территории», и там границу Европы и Азии проводили и проводят как угодно. В 60-х годах меня учили в школе, что эта граница идет по Кумо-Манычской впадине, то есть в равнинном Предкавказье. В то же самое время авторы американского атласа Hammond (1965) провели границу по южному рубежу СССР, включив в состав Европы все закавказские республики. А сейчас в наших школах эту разделительную линию ведут по Главному Кавказскому хребту, благодаря чему высшей точкой Европы становится Эльбрус, а не Монблан, как считалось ранее. Весьма удачно, потому что теперь немало западных альпинистов совершают восхождения на крупнейшую гору Кавказа. Но, может быть, обидно грузинам, желающим, чтобы их считали европейцами? Что поделаешь, тот же Стамбул находится в Европе, но турок никак не признают европейцами. А Достоевский 150 лет назад написал о нас, русских, что «все мы в Европе только стрючки». Границы частей света не обязательно должны совпадать с границами культур.

Впрочем, и эта, кавказская граница, не вполне ясна. Непонятно, с какой части западного берега Каспия её начинать, куда относить Апшеронский полуостров и Баку. То же самое относится и к западному Кавказу — можно завершить сухопутную границу в Анапе и продолжать дальше по Черному морю, а можно тянуть и до Тамани, тогда следующей линией станет Керченский пролив. В общем, сложно это, но зато дает некоторое представление о проблемах демаркации границ государственных.

Но здесь, в Бебеке, все ясно. Зримая граница — Босфор. И не только зримая, но и освященная многими столетиями истории. Так её ощущали еще в классической древности. Персидский царь царей, даже проиграв войну с греками, продолжал именоваться владыкой Европы и Азии, ибо сохранил владения во Фракии. И еще, с древнейших времен переход Босфора означал вторжение — либо в Азию, либо в Европу. Сначала завоеватели шли в Азию — хетты, фригийцы. Потом началось попятное движение — Дарий, Ксеркс, но затем Александр надолго положил этому конец, и вся Передняя и Малая Азия стали по сути частью Европы. Говорили на греческом (на нем и Евангелия написаны), жили так же, как в Риме, если не лучше, весь восток Римской империи был культурен, и здесь чаще строили театры, чем арены для боев гладиаторов. В эпоху Византии это кончилось — сначала арабы несколько раз перешли Босфор, но были отбиты, потом турки-сельджуки закрепились на восточном берегу пролива, так что император имел удовольствие наблюдать их военные приготовления из окон своего дворца. Но потом пришел Петр Пустынник, а за ним Готфрид Бульонский со своей крестоносной ратью, и на некоторое время граница отодвинулась на восток от Босфора, но недалеко. В конце концов,

пали твердыни рыцарские, и Византия, сама от этих рыцарей немало пострадавшая, осталась один на один с турками, и тихо умирала вплоть до 1453 года, когда натиск Мехмеда Фатиха прекратил её существование.

Вот что интересно. Развитие культуры византийской не подчинялось течению политики. Деградация государства, от которого в середине XIV века остались лишь рассеянные осколки — Константинополь без Галаты, подчиненный Константинополю деспотат Мистра, находившийся на месте древней Спарты, Салоники с окрестностями, да еще независимые Трапезундская «империя» (крошечная полоска земли вдоль южного берега Черного моря) и Эпирский деспотат (бедный горный край на территории нынешней Албании и северо-запада Греции). Но в эти же годы произошел последний взлет византийского искусства, который захватил в основном живопись, ведь для строительства больших храмов средств не было. В иконах и фресках при сохранившемся следовании классическим канонам появляется новое — особенно выразительная монументальность, сочетающаяся с обостренной трагичностью. Глядя на них, не видишь никакого оскудения духа народа, какое бывало часто в истории, взять хотя бы позднейшее искусство Древнего Египта, банально копирующее старые образцы, или поздний Рим, в творчестве которого увядающие античные образы размываются еще не до конца сложившимися, «эмбриональными» ликами Средневековья, и их сочетание особенно дисгармонично, судорожно, и в то же время невзыскательно и вяло. Нет, Византия сохранила всё лучшее, да еще и усилила его каким-то новым и грозным напряжением духа, который утверждает свою готовность к борьбе, к последней схватке, к гибели. Прекрасным выражением этого духа стали фрески Феофана Грека, византийца того самого времени, покинувшего родину ради России. Это уже космическое творчество, в котором все духовные и нравственные силы выражены в незабываемой, хмуро-аскетической, грозовой колористике, в строгих и чистых очертках фигур, отнюдь не бесплотных, но до последнего штриха овладевших плотью, что готова и к суду, и к алтарю. Его творчество отдало древнюю, но мощную кровь юной России, и этот случай кажется беспрецедентным в истории искусства. По существу, именно тогда произошла передача эстафеты, и дальнейшее, через сто лет совершившееся принятие символов императорской власти Иваном III было лишь материальным закреплением, констатацией *de jure* того, что уже сбылось *de facto* в мире Духа.

Напрашивается сравнение с другим искусством, тоже предвещавшим крушение и гибель — с искусством русского модерна, с поэзией Серебряного века. Если попробовать рассмотреть его с тех же позиций, получается странная картина. Россия начала XX века была (что бы ни говорили *pro et contra*) страной активно развивавшейся, имевшей огромные, и до конца нами не понятые перспективы. Тем не менее, сколь бы я ни восхищался русским искусством «прекрасной эпохи», я вижу в нем явные признаки не силы, но слабости. Последняя вспышка византийского искусства поражает не только глубиной веры, но и тем стоицизмом, с которым, наверное, шли на смерть первомученики. В русском искусстве начала XX века тоже есть жертвенность, но иная — в ней чувствуется обреченность агнца, ведомого (но не идущего по своей воле!) на заклание, и даже, когда поэт восклицает —

*«Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном!»*

— я слышу в этом что-то истерически-нервное, чувствую в этом дрожание губ узника, принимающего положенный перед гильотинированием глоток коньяка. Может быть, более всего этот ужас приговоренного прорывается в последней поэме Блока, где в роли жертвенного агнца выступает Спаситель, где флаг Его неотличим по цвету от Его же крови... Может быть, потому великолепная культура России начала XX века и не была подхвачена ни нами (в том числе нынешними, свободными), ни иными, даже близкими нам народами?

Но вернемся к году 1453, который был включен Стефаном Цвейгом в число звездных часов человечества. Да, это поворотная точка истории, с этой поры Азия шла через ворота Босфора в Европу тяжелой и мрачной поступью турецкого марша. Сейчас кажется невероятным, но было и так, что под стенами Вены янычары жарили свой кебаб и мололи свой кофе в традиционных медных мельницах. Заняв чуть не пол-Европы, турки сами стали, причем навсегда, одним из элементов общеевропейского населения и культуры. Дело тут не только в кофе, который после венской осады 1683 года стал обязательным атрибутом европейской жизни (даже расхожее интернациональное слово «кафе» — оттуда). Нет, тут все тоньше. Мы привыкли рассматривать турок как жестоких завоевателей, как мучителей православного населения Балкан — и это так. Вместе с тем завоеватели эти не были дикой и невежественной ордой, подобно каким-нибудь древним гуннам или гепидам. Напротив, этот народ был восприимчив к чужому и завоеванному, и это видно во множестве явлений, начиная от архитектуры мечетей и кончая турецкими банями — этому удивительному реликту античных терм, сохранившемуся в Византии (правда, без некоторых элементов, оставшихся в античности), и далее сохраненному от окончательного уничтожения этими самыми турками. Кстати, баня — один из важнейших показателей культуры нации, и необходимо признать, что Западная Европа в этой области долго и существенно отставала от Турции.

Так или иначе, есть феномен Европейской Турции (так говорили в XIX веке), есть феномен мусульманской Европы (так можно сказать ныне), о котором еще стоит поговорить. Обратное движение, наступление на Турцию сначала Австрии, а потом и России, освобождение балканских стран от ига — всё это продолжалось столетиями, шло с переменным успехом, и долго ни одной европейской армии не удавалось пересечь босфорскую границу с Азией. Дважды в XIX веке к ней подходили русские, в начале XX века один раз приблизились болгары, но Турцию всегда спасали либо дипломатия, либо раздоры между её противниками. Наконец, в первую мировую войну англичане ступили на эту границу, осуществляя операцию в Дарданеллах, но их замысел не удался благодаря генералу по имени Мустафа Кемаль. И даже когда Турция потерпела окончательное поражение в Первой мировой войне, граница Европы и Азии была пересечена лишь один раз, да и то ненадолго — греческой армией, которую на пути к Анкаре, на реке Сакарья, разбил все тот же Кемаль-паша, Ататюрк.

В итоге осталась турецкая Фракия, остались мусульманские Албания и Босния, к которым еще добавилось отторгнутое от Сербии Косово. Эти осколки Азии на юго-востоке Европы не только памятники давней экспансии, но и свидетели (сочувствующие и принимающие посильное участие) новой экспансии, идущей, в частности, через Босфор, а также другими, неизвестными ранее путями. Трудовая иммиграция, поощряемая жадной прибылью и пополняемая армиями беженцев, как подневольных, так и добровольных, понемногу наполняет составившуюся Европу. Это постепенное завоевание, обычно не сопровождаемое кровавыми эксцессами, хотя и бывали и будут еще трагические события.

Это напоминает процессы, шедшие в Древнем Риме, когда варвары-германцы массами, целыми племенами селились на землях империи, когда из них комплектовались легионы, когда они начали занимать государственные должности и активно вмешиваться в политику страны. Наверное, подобное должно случиться и в Европе — от мусорщика до полицейского, от грузчика магазина до владельца ресторана, от спекулянта на блошином рынке до члена парламента, и так далее. Можно попробовать утешить себя мыслью о том, что культура постепенно «облагораживала» этих германцев-варваров, и в результате этого долгого процесса дошло и до пламенеющей готики. Стоит, тем не менее, напомнить о важном обстоятельстве. Германцы V века и вправду были не отягощены культурой (Один и Тор не в счет, эту языческую культуру, вернее, её лучшее выражение, мы знаем из позднейшей «Старшей Эдды», исландского источника XIII века). И потому вождю франков Хлодвигу было несложно поменять свое вероисповедание, и он «сжег то, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал». Нынешние же новые европейцы

не *tabula rasa*, как франки или лангобарды. За ними иная культура, древняя, но при этом живая и активная — ислам. Поэтому более вероятно постепенное вытеснение или замещение европейского ближневосточным. Вот так может совершиться «тихое» завоевание Европы, и, скорее всего, оно может произойти в североевропейских странах, где слабее традиционные ценности, где ранее господствовал протестантизм, а ныне царит близорукий прагматизм. Страны с католической и православной культурой — Испания, Италия, Греция, Сербия — имеют больше шансов выдержать это завоевание.

Впрочем, что это мы о грустном, да и как-то незаметно разговор начал приобретать антиазиатскую окраску. Вот эти строки, строки прощания с европейской стороной Босфора я пишу в отеле, стоящем в центре Афин, но при этом отнюдь не изнываю от жары, ибо сейчас осень, а летом я в Грецию не езду. Впрочем, если бы мне и было жарко, я бы не стал глотать кока-колу, ибо это истинная отравка в подобные дни, когда температура достигает 36°C. Кола в такие моменты может быть даже хуже, чем пиво. Но вот умеренно прохладный, в меру соленый турецкий айран пришелся бы кстати, даже если собираться на мыс Сунион.

Глава 5. Хайдар-Паша

Через Босфор переброшено аж два моста, по ним летят потоки машин, но мне как-то претит столь прозаический способ пересечения границы частей света. На мой взгляд, куда интереснее отправиться в Азию (или Анатолию, как обычно говорят турки) на корабле. Множество небольших, обильно источающих жирный дым старообразных суденышек курсирует между Стамбулом и Ускюдаром, а в последнем находится железнодорожный вокзал Хайдар-Паша — туда-то мы и держим путь. Набитые народом кораблики, невзирая на свой преклонный возраст, резво пеняют босфорскую воду, и берег постепенно удаляется, но это не только не мешает, но, наоборот, помогает внимательно разглядеть великолепную панораму Царьграда. С азиатского берега она совершенна — красная громада Айя-Софии и белое кружево ее младшей сестры, Султанахмет. Здесь-то и видна их гармоническая соразмерность, и хорош этот вид в любое время дня — утром солнце освещает храмы, вечером они погружаются в багряно-золотое закатное море.

Как хорошо, когда расстояние помогает лучше увидеть! Кратковременная разлука с любимой окрыляет любовь, дарит ей новую, лучшую веру, наполняет её новой, неведомой ранее силой. Вспоминаешь книгу, которую любишь, но которую давно не читал — и предчувствие радости нового прочтения её вдруг открывает черты, которые уже видел, которые знаешь, только знание это не было до сих пор подтверждено чувством, и не осознавал ты этого знания, слабо теплившегося в подсознании. Масса мазков, часто грубых, иной раз просто неряшливых, не сглаженных, засохших комков краски, при отдалении, образуя тонкие переходы, сливаются в картину света, величия и гармонии. Больше нет базарно-ковровой и сувенирной суety, исчезли неряшливые переулки, закопченные и облупившиеся фасады. Величественно и гордо плывут над синевой Босфора две драгоценности, два храма, два чуда Господних.

И все-таки я выбираю закатное увядающее золото, подобное злату нимбов, сочетающемуся с огнем, охрой и умброй одеяний — «константинопольский эпилог» (использую выражение Сергея Аверинцева), последний великий всплеск духа эпохи Палеологов, живую икону, то, что особенно роднит Россию с этими берегами, о которых сказано Набоковым — «в Цареграде на закате, в Назарете на заре», и о которых говорить еще и еще — радость на все времена.

*На губах синайский мёд,
корка хлеба на ладони,
а под сердцем тает лёд,
да храпят хмельные кони!*

*Под висками бой копыт,
и набат в грудинной клетке,
и душа уже не спит
на рассвете в Назарете.*

*В полведре глоток судьбы
до звезды на дне колодца,
до петли и до сумы —
на колени, и клянётся
белым платом бересты,
звёздным ковшиком зенита,
да крамолой красоты
громозвучного гранита,*

*со струны срывая страсть
прямодушием пророка...
Только б сердцу не упасть
с высоты любви и рока!
Окна настезь, дверь с петель,
ослепительные муки,
и позёмкою — постель,
и кольцом — родные руки!*

*И туманятся глаза,
словно слёзы оросили
вековые образа,
воплощение России...
Это плач сосновых плах,
откровение — в отраде!
Это миро на губах
на закате в Цареграде.*

Эта страсть по Царьграду, неутолимая и роковая, тянется сквозь нашу историю то золотой, то кровавой нитью. Может быть, это самая великая любовь нации, которая, как и великая любовь человека, воспеваемая в трагедиях, не может и не должна заканчиваться счастливым союзом, но обязана быть неразделенной, разлученной, невозможной. Она всегда — утрата и боль, и этим в первую очередь и велика. Написал некогда Достоевский — «Константинополь должен быть наш». Думаю, дело здесь не в том, что великий писатель ошибся. Скорее чувствую иное — «обрусение» Константинополя означало бы утрату великой и прекрасной мечты, много столетий окормливавшей наше искусство и наш дух. Имеет ли значение реальность помещения Олегом щита на городских воротах, этого чисто символического жеста? Предположим, что этого события не было, ну и что? Разве тогда утрачивается один из важнейших символов русской культуры? Чуть-чуть об этом — щит на вратах означает не подчинение града воле князя-завоевателя, но покровительство князя граду, защиту города князем, союзнические отношения. Могут возразить — но ведь Игорь и Святослав опять воевали с византийцами? Ну и что же из того, союз заключал лично князь (а в случае Олега вообще регент-правитель при малолетнем Игоре), преемственности политики еще не было. Другое дело, что символ остался в памяти, что во времена скорбные, когда пал золотой крест Софии, Русь вспомнила об Олеговом щите. Отсюда пошла вся православная линия русской политики — обещание защиты

единоверцам, долгая и трудная эпопея, в ходе которой первоначальная идея постепенно искажалась, выродившись в панславизм.

Другая сторона — воплощение мечты означает её смерть. Мечта боится воплощения и умирает, когда оно совершается. Умирание это может оказаться пошлым — наверное, это самое страшное. В далеком теперь 1990 году я любовался видом Айя-Софии с палубы корабля, и кто-то рядом едко пошутил — а если бы сейчас София была наша, наверное, стояла бы облупившаяся, с покосившимся крестом, в лесах, давно не посещаемых реставраторами, как десятилетиями стоял величественный собор Нового Иерусалима. Подумалось еще, а вдруг её взорвали бы, как храм Христа Спасителя? На возможный ответ, что нет, не стали бы, ибо древность, легко возражу — а собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве разве не древность? Двенадцатый век. И примеров таких множество, так что судьба Софии, великого символа, могла быть ужасна. А если бы не снесли, а использовали бы в качестве еще одного музея атеизма, или планетария? Вот и пример пошлости. Так что пусть София останется не нашей, пусть Константинополь никогда не будет нашим, ибо много у нас своего в небрежении до сих пор.

И все-таки нельзя избежать влияния особенного мистицизма, глядя на храмы в золотой вуали. Само рождение Царьграда, основанного еще во времена классической древности выходцами из Мегары, таинственным образом пророчит его будущую славу, пророчит словами пифии, Дельфийского оракула. Некогда мегаряне задали вопрос оракулу Аполлона — какое место занимают они среди других областей Эллады. И оракул дал ответ, по обычаю стихотворный и двусмысленный, причем двусмысленность эту тогда никто не разгадал. Не знаю, известен ли тайный смысл в наше время, потому привожу текст ответа Аполлона и собственную интерпретацию его:

*«Лучший край на земле — Пелазгов родина, Аргос;
Лучшие всех кобылиц — фессалийские, жены — лаконки;
Мужжи — которые пьют Аретусы-красавицы воду.
Но даже этих мужей превосходят славою люди,
Что меж Тиринфом живут и Аркадией овцеобильной,
В панцирях из полотна, зачинщики войн, аргивяне.
Ну, а вы, мегаряне, ни в третьих, и ни в четвертых,
И ни в двенадцатых: вы ни в счёт, ни в расчёт не идёте».*
(перевод Ф. Петровского).

Ответ оракула был тогда понят как издевательский — мегарянам нет места в «каталоге» земель Эллады, их и перечислять с прочими не стоит, они заурядны. Но эта заурядность (такими быть хуже, чем последними!) на повороте истории превращается в лидерство, даже более того, в первенство вне конкуренции, которое просто не может быть оспорено. Они, мегаряне, основатели Царьграда, они нашли это место, Творцом предназначенное для великой столицы, и тем самым предвосхитили евангельскую притчу — «будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Не стану спорить со скептиками, но все-таки посоветую не смеяться над словами дельфийского оракула.

Дальнейшее не менее интересно. Почему Константин перенес имперскую столицу? Ответ — из-за христианства — будет неверным. Новая религия уже давно была принята им, перенос столицы случился через 17 лет. Другой ответ — восточные провинции империи были в значительно лучшем состоянии, были сильнее экономически, меньше подверглись кризису III века. Этот ответ значительно убедительнее, но ни один предшествующий император не делал столь радикального шага, даже решительный Диоклетиан, даже Адриан, обожавший Грецию и эллинизм. Так получилось, и при этом два события произошли при одном императоре. Пусть

они разделены семнадцатью годами, но мистик всё равно будет искать связь этих событий, да и как иначе?

И еще. Есть, и явственно ощущается здесь, на Босфоре, перед прощальным образом великого города — предопределенность, предназначенность именно этого места для столицы тысячелетней империи. Природа дала всё, что для нее нужно — пролив меж двумя морями, как линию границы двух миров, которым эмблематически соответствуют две главы имперского орла, как проход между югом и севером, причем не просто проход, а узловый участок пути. Добавим к этому уникальность Золотого Рога — в мире мало столь удобных бухт. Если сравнить столицу Византии с иными столицами великих держав, то эта предназначенность станет еще яснее. Возьмем для примера Москву. Маленькая окраинная крепость Владимиро-Суздальского княжества изначально была провинциальным центром — здесь нет даже большой реки, удобной для судоходства и способной обеспечить как защиту центра города, так и потребность его в воде (к началу XX века это стало очевидно). Нет у Москвы и особого положения среди других городов Руси — чем, собственно, хуже Тверь? Даже лучше, дальше от опасной южной границы, ближе к богатым торговым центрам северо-запада, да и Волга полноводнее. В самом соперничестве Москвы и Твери в XIV веке всё решилось фактором частным, субъективным, личным, но не общим, объективным, географическим. Воля московских князей оказалась сильнее, чем выгодное географическое положение.

Можно взять для примера и Санкт-Петербург. Здесь явственно видно соединение объективного и субъективного: положения города на рубеже Западной Европы и воли Петра, стремившегося ввести страну в строй европейских держав. Но, в отличие от Константинополя, Петербург был и остается городом приграничным и не может стать сердцем страны. Поэтому Константинополь, Стамбул, Царьград есть некий идеал столицы на все времена, причем столицы не просто государства, но империи. Как результат крушения Османской империи можно рассматривать и перенос столицы в куда менее привлекательную, провинциальную, но в большей мере турецкую Анкару.

Теперь же нам предстоит отправиться в долгий путь по извилистой и сложной дороге, которая согласно моему предпочтению будет много раз отклоняться от прямого пути на восток, в глубь Анатолии, будет сворачивать то на юг, то даже на запад, и все-таки станет кратчайшим путем между самыми достопамятными местами этой земли. Как в научной фантастике — прямой путь меж звездами имеет лишь кажущуюся прямизну, на деле это долгое до бесконечности движение то ли по спирали, то ли по какой-то загадочной ленте Мёбиуса, подчиненное как гравитационным силам, так и непостижимой обыденному разуму кривизне самого пространства. И точно так же внешне изогнутый, парадоксальный путь в умозрении фантастов становится путем кратчайшим, пронизывающим улитку пространства независимо от её изгибов.

Дорога есть еще и древнейший символ искусства, и даже самого человечества, а если идти дальше, то целого мира, Вселенной, находящейся в непрерывном развитии, следовательно, движении. Рассматривая движение природы и человечества, любой беспристрастный наблюдатель должен будет согласиться с наличием цели этого пути. Даже, если «конечная цель — ничто», это не означает её несуществования, напротив, она присутствует всегда, вне зависимости от житейских, теологических или философских её интерпретаций, включая даже крайние формы материализма, агностицизма или философского релятивизма, выражаясь хотя бы в конечности любого процесса.

Что такое цель для нас? Достижение столицы Турции, Анкары, города, мало известного туристам и далеко уступающего славой великому Царьграду? Это, на деле, лишь внешняя оболочка цели, её форма, которая структурно подобна форме художественного произведения, например, стихотворения. Связь её и содержания далеко не всегда бывает прямой и понятной всем, но часто, напротив, оказывается улавливаемой лишь на интуитивном уровне. Кроме

того, очевидно, что избранная форма может статьместилищем самых разных, даже противоположных друг другу вариантов содержания.

Что же за содержание я вкладываю в избранную форму лирически-сентиментального путешествия? Можно обозначить её одной фразой — разговор об искусстве и совершенстве. Но можно и подробнее обсудить все выкладки и выводы, и тогда цель нашего путешествия станет и объемной, и обширной. Думаю, что пришло время поговорить об этом.

Во всяком пути, движении, развитии можно найти две силы — уравнивающую, стабилизирующую, и противоположную ей, выводящую из состояния равновесия, направляющую, устремляющую. Мы отправляемся в дорогу, покидаем дом с его устроенностью, его порядком ради движения, ради смены привычного новым, ради самого чувства дороги. Но не только. Еще — ради нового дома, нового покоя, ради обретения нового равновесия, как материального, так и духовного. Или вот еще как. Мы поднимаемся на вершину горы, и путь становится всё труднее, и сгущается холод, и нет приюта, и долина привольная всё ниже, всё дальше. С каждым шагом вверх всё более шатким становится равновесие жизни, и смерть оказывается рядом, прямо на плече, тихо следящая и ждущая. Одновременно с этим происходит воспарение духа; на вершине он разворачивает свои крылья, восторг, смешанный с благоговейным ужасом, подобным страху Господню, охватывает всё существо. Чем тоньше нить жизни, чем зыбче связь с миром, тем окрыленнее дух. Что-то подобное происходит с человеком сразу после кризиса тяжелой болезни — странная неземная светлость наполняет душу и очаровывает её тихим счастьем, когда даже простой одуванчик начинает казаться небесным цветком, когда слабое дыхание течет как мед.

Не есть ли в этом величайшая тайна жизни? Не рискуя обременять читателя сложными научными и философскими понятиями, да и не чувствуя в себе довольно знаний и опыта в этих областях, всё же попробую сказать об этом как можно проще. Жизнь, пребывающая в непрерывном движении, развивается по пути всё большего усложнения. Биологический регресс паразитов не в счет, это частный случай, исключение из правила. Мы приходим к теории эволюции, но тут сразу начинаются проблемы, ибо в обыденном сознании понятие эволюции непременно ассоциируется с учением Дарвина о естественном отборе. И я уже слышу краем уха треск ломаемых копий на шутовском турнире между эволюционистами и креационистами. При этом кажется, что наличие такого понимания в России можно объяснить долгим господством идеологии марксизма, насаждавшейся со школьных лет. Но это впечатление обманчиво. Увы, и на Западе слова «теория эволюции» в массовом сознании неразрывно связаны с именем Чарльза Дарвина и с естественным отбором.

Но что такое естественный отбор? Прежде всего, сила, уравнивающая отношения между организмом и окружающей средой, сила, ведущая к приспособлению организма и вида в целом к меняющимся условиям среды. Равновесие — вот цель естественного отбора. Но это не единственная сила, участвующая в развитии живого. Понять это нетрудно. Максимально приспособлены к среде низшие формы жизни. Какие-нибудь синезеленые водоросли, которых сейчас биологи предпочитают называть цианобионтами, могут жить и в кипении гейзеров Камчатки, и в ядовитых, насыщенных пестицидами и удобрениями водах «рукотворных морей», и во всежигавшем пламени радиации. Полагают ученые, что такие организмы способны устоять и против космического холода, и что они, подобно спорам, могут разноситься по Вселенной, расселяться по планетам и давать начало новым оазисам жизни.

Но в таком случае, действующий лишь один естественный отбор, жизнь так и осталась бы на уровне цианобионтов, ибо какой смысл в усложнении и совершенствовании, если примитивный организм и так превосходно приспособлен к условиям, в том числе экстремальным? Между тем, чем сложнее организм, тем уже спектр условий, в которых он может существовать. Развитие жизни ведет не к уравниванию, но к появлению все менее равновесных

систем. Или, скажем точнее, равновесие живого по мере его усложнения становится все более неустойчивым.

По существу, это означает, что для объяснения развития живого недостаточно одного естественного отбора. Более того, естественный отбор можно интерпретировать как случай проявления общего вселенского закона — закона усреднения. В классической физике, в области термодинамики анализ действия этого закона привел к появлению такого понятия как энтропия. Естественный отбор — это энтропия на биологическом уровне, процесс, ведущий к усреднению, уравниванию отношений организма и среды, и к отсечению всего, не укладывающегося в схему, всего, что вопреки ей. Но тогда, по аналогии с термодинамикой, в рамках которой энтропия вела к «тепловой смерти» Вселенной, то есть, к равномерному рассеянию энергии, угасанию звезд и прекращению всех процессов, естественный отбор без противовеса должен был бы означать «биологическую смерть» Вселенной — прекращение всех биологических процессов, неизбежно наступающее тогда, когда живое примет наиболее равновесную, а значит, самую примитивную форму.

А это означает, что движущая сила эволюции — не естественный отбор, но явление, коренным образом противоположное ему, действующее ему вопреки и ведущее жизнь ко всё более сложному, всё менее устойчивому, всё более хрупкому и ранимому, всё менее определяемому внешними материальными факторами, и, как итог, к Разуму и Духу. На этом остановлюсь, ибо опасаясь, что я и так уже далеко углубился в области специально научные. Скажу лишь одно. Если цель развития есть некий идеал, то в философии такой идеал уже давно описан под именем Абсолют.

Теперь самое время вернуться к более привычному и лучше адаптированному к содержанию этой повести вопросу о творчестве. Художественное творчество само есть путь, в его анализе вполне возможно и использование термина «эволюция», а это означает, что и здесь возможен поиск диалектического взаимодействия противоположных сил. Получится ли? Начнем с привычного утверждения «искусство есть отражение действительности». Так ли это? Сначала кажется, что так, ведь художник изображает то, что знает, то, что видит, и даже в фантазии его выражается, пусть и исподволь, пусть и непрямо, окружающая действительность. Наконец, формирование личности художника, особенности его творческой манеры, почерк, идея, эмоциональный спектр — несомненно зависят от действительности, или, пойдем дальше, от окружающей среды, посредством которой они формируются. Но тогда поставим вопрос — а в чем цель творчества, искусства? Неужели в отражении действительности, так сказать, в фиксации её для будущих поколений?

Художественная фотография давно признана самостоятельным видом изобразительного искусства. Да и без признания, достаточно взглянуть на работы Родченко, чтобы с этим согласиться. Но в качестве исторического документа годится любая фотография, даже самая непрофессиональная и несколько не художественная. Она в любом случае есть факт исторический, есть выражение (отражение) действительности. Искусством фотографию делает нечто иное, нечто большее, чем это самое отражение. И это заключение можно перенести на другие виды искусства, и не только на изобразительные, но и на литературу.

Но давайте сделаем еще один шаг, очень смелый и рискованный. Музыка — величайшее из искусств. А она что, тоже «отражение действительности»? Было бы очень странно согласиться с этим. Да, конечно, есть программные симфонии, есть произведения, в которых слышатся и шум моря, и завывание метели, но я не могу представить, что Дебюсси ставил целью музыкальную передачу плеска волны, а Шопен — полета снежного вихря. За этими звуковыми образами стоит иное, и неизмеримо большее, чем слышимый нами мир. Абстрактность музыки, её предельная (для искусства) символичность отвергают в принципе начальный тезис об отражении.

Бродский хорошо сказал о поэзии, точнее, о трех направлениях, в которых работает поэт — логика, интуиция, откровение. Это утверждение можно применить и к другим видам искусства. Для музыки в этом случае логическая ступень сведется к мелодии и гармонии. Но интуиция, но откровение — займут всё остальное, и дадут нам духовную полноту искусства. Перефразируем — есть материальные и формальные стороны, в конечном счете сводимые к логике. И есть сторона духовная, в которой звучит откровение. Интуиция же действует на обоих уровнях.

К чему мы пришли? К тому, что художник, поставив своей целью отражение действительности, неминуемо замкнется в тисках материи, в тупике энтропии, и придет к творческой смерти. Но если так, осталась последняя ступень, последний шаг. В чем состоит цель творчества, куда оно идет, к какому идеалу? Согласившись с духовным происхождением его движущей силы, снова, как в случае биологической эволюции, приходим к Абсолюту.

Мы заговорились, а поезд скоро тронется. Надо на чем-то закончить, и я ощущаю потребность сказать еще одно, важное, личное. Впрочем, вы, наверное, уже сами догадались — это пространное эссе, облеченное в старинную форму сентиментального путешествия, лишь внешне, лишь материально есть рассказ о Турции и о странствии по этой стране, а на самом деле это разговор, уводящий далеко от предметов внешних, лишь ассоциативно, лишь интуитивно связанных с иным, намного более обширным и полновзвучным миром.

Глава 6. Измит

Утренние лучи, врываясь в окна вагона, щекоют веки, окончательно прогоняя кое-как состоявшийся сон. Перед глазами изредка промелькивает синяя гладь Мраморного моря, но по большей части проносятся фасады и плоские крыши домов, разнокалиберных, не сочетающихся друг с другом, в беспорядке нахлобученных недавних и современных построек — всё новое и всё достаточно безликое. Вполне естественная картина в условиях, когда единого плана градостроительства не существует, а каждый застройщик, заняв земельный участок, строит по своему, пусть даже и нанимая архитектора. Пестрота получается почти хаотическая.

Этот хаотический образ давнего воспоминания (ибо в Измите я был в далеком уже 1994 году) легко сменяется в воображении другим хаосом, на этот раз сотворенным природой. Через пять лет после моего кратковременного посещения Измит был полностью разрушен катастрофическим землетрясением. Все эти дома и домишки «сложились», обвалились стены, упали перекрытия, а сколько жертв было — цифры расходятся, но никак не меньше десяти тысяч. Много шумела пресса по поводу того, что строительство велось с нарушениями, что всё было пронизано коррупцией, и так далее, очень узнаваемо и очень обычно. Так же, как и то, что следующее землетрясение может создать точно такой же смертельный хаос и вызвать точно такие же дискуссии и обвинения.

Между тем, застраховаться от землетрясения на сто процентов невозможно даже с помощью самых современных технологий, позволяющих строить здания, которые, согласно проекту, должны выдерживать удары в семь и восемь магнитуд. Но что из того, разве кто-нибудь сможет назвать предел мощности сейсмического толчка? Его просто нет. В ряду множества распространявшихся ранее и упорно продолжающих плодиться ныне предсказаний грядущих бедствий землетрясения занимают почетное место, да и как иначе, если Сан-Франциско стоит на активном разломе Сан-Андреас, а истомленный скукой и унынием обыватель так любит щекотать нервы катастрофами... А поскольку сейсмически активные области по площади далеко уступают стабильным, то на помощь приходит лженаука с недалекими спекуляциями о глубоких разломах, пересекающихся то под Москвой, то под Чернобылем, в общем, в тех местах, где ни разу в истории не происходили сейсмические толчки. Как говорится, несчастных случаев у вас не было? Будут.

Но ведь жалко людей, жалко города, пусть и такие бестолковые, как этот Измит с его тесными домишками, балконы которых густо уставлены цветочными кадками. Представьте, полминуты, минута — и всё это обваливается, рушится, обращаясь в безобразный и бессмысленный хаос обломков, арматуры, пыли. Жили люди — и не живут больше. И сколько таких происшествий было за историю человечества — не сохранена память обо всем этом в анналах, да и не вместят летописи всех трагедий.

И вот еще что удивительно. Очень часто люди предпочитали селиться именно в таких опасных местах. Есть в южной Турции античный город Сагалассос, возникший незнамо когда, взятый с боя Александром Великим, отстроенный в эпоху эллинизма, процветавший и в римское время. На рубеже тысячелетий там работала бельгийская археологическая экспедиция, и можно было дивиться той аккуратности, такту, больше того, интеллигентности ведущихся работ. Бельгийцы обнаружили и расчистили античные водоводы, и в городе вновь заработал древний источник, устроенный точно так же, как позднейшие городские «фонталы» эпохи Возрождения, вроде того, веронского, у которого Меркуцио был смертельно ранен Тибальтом. Чистейшая вода течет, поднимаясь из трещин, которые, увы, связаны с глубинным разломом, что и стал причиной многочисленных землетрясений, окончательно разрушивших город в ранневизантийскую эпоху. Впрочем, подземные толчки были и раньше, но люди восстанавливали поврежденные сооружения. Археологи расчистили и отреставрировали здание библиотеки эллинистического времени, поврежденное землетрясением; там стены и мозаичный пол рассечены трещиной со смещением, и этот зримый след стихии сохранен исследователями, так что желающий может без труда измерить амплитуду смещения.

И ведь это место, Сагалассос, далеко не единственное. Вспомним поселения крито-минойской культуры на самом Санторине, Помпеи и Геркуланум у подножья Везувия, а если поближе к нашему времени, то Лиссабон, Мессину, Ашхабад... И, конечно, придет на ум и мифическая Атлантида, и важно уже не то, была ли она вообще, и если была, то где её искать, но важна сама история о культуре, достигшей могущества, и в один день низринутой в хаос.

А ведь такова и вся цивилизация. Чем она сложнее, чем технологичнее, чем больше в ней взаимосвязей, тем всё более хрупка её структура, и тем более подвержена она трагическим, роковым стечениям обстоятельств. И тут землетрясение — так, мелочь в сравнении с ядерной зимой или падением крупного астероида, не оставляющим надежд на выживание не только цивилизации, но и самому человечеству. Пусть меня обвинят в социал-дарвинизме, но, увы, не могу промолчать о бросающемся в глаза сходстве. Да я уже и говорил об этом — чем более «продвинут», «прогрессивен» и специализирован биологический вид, тем более шатко его положение в непрерывно изменяющемся мире. Могуч самец гориллы, если надо, так леопарду шею свернет, но достаточно оставить его без родных джунглей, и ничем он не поможет ни своей семье, ни себе самому. Так и человек — при разрушении городов ему не помогут никакие высокие технологии и глобалистские ухищрения.

Впрочем, на все воля Божия, и приходя к этой мысли, приучаешься любить то, что есть, и жалеть то, чего не стало. А не стало скорее по нашей собственной глупости, нежели по воле природы. Простой пример. Ни один ураган, ни один пожар, ни одно наводнение не нанесли такого ущерба нашим главным городам, Москве и Санкт-Петербургу, как мы сами, род человеческий. Больше скажу, ни один агрессор не наломал столько в Москве, сколько мы сами, да еще за микроскопический для истории срок! И сейчас всё не уймемся.

Незаметно отклонились мы в рассуждениях, всё больше сужая и конкретизируя тему, и сейчас уже говорим об искусстве, о красоте, и об их хрупкости и ранимости. Кажется, эта сторона особенно знакома культуре японской, и это, вероятно, не случайно, потому что именно в Японии уязвимость человеческих творений перед мощью стихии и жестокостью войны была особенно сильно ощущаема. Это прекрасно видно на примере заката эпохи Хэйан (XI — XII) века, когда искусство было занятием только малочисленной столичной аристократии,

остро предчувствовавшей свою обреченность. Это чувство сохранилось и в японской культуре нового времени: знаменитый «Золотой храм» Мисимы представляет собой, помимо прочего, еще и доказательство от противного того же вывода о неизбежной обреченности красоты. Причем, чем выше и совершеннее прекрасное, тем больше опасность, грозящая ему. Как в фильме Тенгиза Абуладзе «Мольба» — вся «мерзейшая мощь» обращается против красоты.

Отчего так? Мышление рациональное, научное видит тут действие закона усреднения. Не высывайся, иначе отрубят голову. Не поднимайся выше массы. «Ветер гнет сильнее вековые сосны, падать тяжелей высочайшим башням» — говорит старик Гораций. Биология убедительно вторит поэзии — при массовом вымирании шанс сохраниться есть лишь у малозаметных организмов, неспециализированных форм, примитивных существ, так называемых видов-оппортунистов, способных существовать в разных обстановках. Анекдотичны домыслы креационистов, объясняющих нахождение остатков всё более совершенных существ во всё более высоких пластах осадочного слоя земной коры — они объясняют это тем, что более совершенные формы дольше могли сопротивляться всемирному потоку. О sancta simplicitas!

А мышление мистическое с той же уверенностью видит здесь поступь Врага, злую волю, стремящуюся ко всеобщему разрушению и избирающему своей жертвой самое лучшее, самое замечательное, самое прекрасное. Эта избирательность зла начинается с исчезновения первоцветов и ландышей вблизи больших городов, а продолжается уже генетическим отбором в эпохи террора. Нет нужды говорить и о максимуме культурных утрат во времена богоборчества и человеческих гекатомб. Довольно об этом.

Сейчас хочется говорить об ином — ведь за окном синеют заливы Мраморного моря, а в другом окне стремительно проносятся то зеленые деревья, то пестрые скалы, а иной раз видишь целые стаи аистов. Все это настраивает на некое буколически-анакреонтическое состояние души, и становится спокойнее, и неизбежность смерти уже не столь фатальна. Поэт, живший в страшную эпоху и не имевший ни малой надежды на признание при жизни своих трудов, написал об этом так:

*«Вечно то лишь, что нерукотворно —
Смерть права, ликуя и губя.
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя!»*

А кто может сказать, выковалась ли форма, достигнуто ли совершенство? Оно не выражается правильными ровными линиями, прямыми углами, гладкостью письма. Ведь как выстроен был Парфенон — в нем нет прямых линий, ибо колонны выгнуты в энтазисе, а основание их тоже выгибается вверх очень плавной дугой, да и сами колонны отклонены от вертикали так, что если продолжать их в вышину, то они сомкнутся воображаемыми капителями на высоте Монблана. Совершенство есть тайна, формула философского камня, и не алгебра уже, но интегральное исчисление гармонии, и постичь его невозможно простым наитием, наивным вдохновением. Ведь это не разрушение, для которого хватило одного удачного залпа артиллерии Морозини.

Между тем лазурный пейзаж Мраморного моря окончательно сменяется сельской пасторалью, полями цветущего подсолнечника, чередующимися с каменистыми пастбищами, где как облачка, спустившиеся на землю, медленно движутся отары овец. Где-то позади скрылись беспорядочные постройки Измита, оставив лишь воспоминание о неизбежной неряшливости городской среды, будь то лошенная европейская столица или провинциальный азиатский городок. Всё едино. Соответственно изменившемуся пейзажу меняется и настрой мыслей. Приходящая мысль, впрочем, не нова, многие уже задавались ей. Она проста — если творчество человека редко достигает совершенства, то создания природы совершенны a priori. А челове-

ческое творчество, не возникает ли оно из простого подражания природе, и не сводится ли оно к подражанию во всех, даже высших своих проявлениях?

Нет, это всё не так просто, вспомним наклон колонн Парфенона и тот малый угол его, что кажется неуловимым для оценки, что не содержит ни зримости, ни вещественности. В этой неуловимости и разница между природой и гениальным созданием рук человеческих. Художник не копирует природу — он её преобразует. В середине «нулевых» годов в Москве выставилось собрание акварелей Максимилиана Волошина, приобретенное Михаилом Барышниковым. Эти акварели помогают понять суть дела.

Вся их серия выполнена во второй половине двадцатых годов, собственно, уже и закат Серебряного века прошел, и наступила долгая ночь для его творцов. Волошин того времени — хранитель немногих уцелевших светов, больше того, он сам — свет, которому уже недолго осталось гореть. В акварельной сюите того времени вновь его любимый Крым, причем только Крым восточный — безлесная, скалистая и степная Киммерия. Глаз легко узнает приметы пейзажа, но не может определить, что же конкретно, какая гора, какой залив изображены. Да и нет никакой конкретности, никакой точности, это фантастические, не существующие в природе пейзажи, имеющие лишь родовое сходство с реальными ландшафтами окрестностей Коктебеля. Вот этот мыс похож на Киик-Атлама, вон тот дальний горный кряж напоминает Меганом, вот эта бухта почти что Двукорная. Вот именно, почти что. А то и совсем нет. Помню примерно то же чувство после знакомства с полотном Константина Богаевского, изображающим столовые горы окрестностей Бахчисарая — они, и не они, а взглядишься, и понимаешь — такого места нет в природе, оно родилось в воображении мастера, а теперь существует зримо на холсте и запоминается зрителем.

И тогда становится ясно, что природа не образец для подражания, а искусство не подражание природе. Если оно и подражает, то более высокому, чем природа. Творцу.

Глава 7. Изник

Дорога к Изнику вьется среди холмов и оливковых рощ, то и дело можно видеть старые деревенские дома, в стенах которых послойно чередуются каменные блоки и деревянные балки, поседевшие от времени. Такие дома обычны для мест, где часто бывают землетрясения; подобные «композитные» стены лучше выдерживают подземные толчки. Так строили с глубокой древности, даже знаменитый Кносский дворец на Крите построен был подобным образом, и в его современной бетонной реконструкции желтоватым цветом выделены деревянные элементы оригинала, разумеется, не сохранившиеся за три с половиной тысячи лет. А наша романтическая дорога скоро приводит к городку, пыльному и скученному, который был бы и вовсе незаметен, если бы не бело-голубые купола мечетей, изукрашенные знаменитыми изникскими изразцами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.